

4(с)

К 891

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

П.С.КУЗНЕЦОВ
У ИСТОКОВ
РУССКОЙ
ГРАММАТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

КОМИССИЯ ПО ИСТОРИИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК

П. С. КУЗНЕЦОВ

У ИСТОКОВ
РУССКОЙ ГРАММАТИЧЕСКОЙ
МЫСЛИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Москва 1958

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР
В. И. БОРКОВСКИЙ

Настоящий очерк имеет целью дать сжатое изложение истории грамматической литературы в России, начиная с древнейших дошедших до нас сочинений этого типа и кончая XVIII в. Развитие грамматических положений рассматривается в связи с общим развитием лингвистических идей, в той мере, как оно может быть прослежено. Что же касается самих грамматических пособий, то исследуются лишь те, которые посвящены русскому и церковнославянскому языкам. Эти пособия неоднократно являлись объектом изучения в прошлом. Можно назвать в качестве примера такие капитальные труды, как И. В. Ягича „Рассуждения южнославянской и русской старины о церковнославянском языке“ и С. К. Булича „Очерк истории языкознания в России“. Но, во-первых, эти труды малодоступны, они давно уже стали библиографической редкостью; во-вторых, в них, несмотря на всю их обстоятельность, не затронуты некоторые весьма интересные вопросы. В частности, для начального периода нашей грамматической литературы большой интерес представляет исследование руководств, посвященных книжному церковнославянскому языку как источнику сведений о живом русском, а может быть и о живых других восточнославянских языках того времени.

XIX век в развитии наших лингвистических воззрений знаменуется утверждением сравнительно-исторического метода в исследовании языковых явлений и проникновением различных новых идей в грамматическое учение. Он образует новый этап в развитии нашей грамматической литературы и в настоящем очерке не рассматривается.

Грамматическая литература начинает распространяться на Руси с XV—XVI вв., т. е. в ту эпоху, когда идет формирование великорусской, белорусской и украинской народностей и создаются предпосылки для формирования современных восточнославянских национальных языков — русского, белорусского и украинского. Но внимание наших книжников того времени было приковано в первую очередь не к живым русскому, белорусскому и украинскому языкам (хотя, как увидим дальше, и эти языки не были оставлены без внимания), а к языку церковнославянскому, еще продолжавшему использоваться в качестве одной из форм нашего литературного языка и находившего себе применение не только в церковно-религиозной сфере (другая форма литературного языка, более близкая к живой речи, в это время употреблялась главным образом в памятниках юридического характера). Внимание к церковнославянскому языку поддерживалось определенными практическими задачами, стоявшими перед передовыми людьми нашего общества. Эти задачи были несколько различны на Украине и в Белоруссии, с одной стороны, в Московской Руси — с другой.

На Украине и в Белоруссии церковнославянский язык наряду с православной церковью служил знаменем борьбы за восточнославянскую национальную культуру против политики религиозного и национального угнетения, проводившейся правящими кругами Польши, в состав которой уже давно входила часть Украины, остальная же часть, а также Белоруссия вошли в результате унии 1569 г. Православные братские училища, создававшиеся на Украине и в Белоруссии в противовес распространявшимся иезуитским коллегиям, требовали пособий по церковнославянскому языку. Этой потребностью было обусловлено то обстоятельство, что, начиная с XVI в., грамматическая литература, посвященная церковнославянскому языку, не только выходит из-под пера наших книжников, но и распространяется печатным путем.

В Московской Руси условия были иные. Московское государство крепло и разрасталось, причем великорусская народность играла в нем ведущую роль, православная же церковь была государственной церковью. После

завоевания турками Византии и Балканского полуострова Москва становится важнейшим центром православной церкви и славянской культуры, по крайней мере, для восточнославянских и южнославянских областей. Одним из следствий этого явилась та работа по исправлению церковных книг, которая предпринята была в Москве еще в первой половине XVI в. А эта работа также невозможна была без определенной грамматической основы и вообще без развития на Москве церковнославянской книжности, без пополнения кадров высокообразованных книжников, хорошо знавших церковнославянский язык, которые, впрочем, на Руси никогда и не переводились.

Об интересе наших книжников к вопросам грамматики свидетельствуют распространенные на Руси списки различных грамматических сочинений, относящиеся к XV—XVI вв. Наиболее ранние из этих сочинений имеют южнославянский источник, но некоторые из них подвергаются сознательной переработке на русской почве.

В южнославянской и в русской литературе известна в нескольких списках краткая славянская грамматика, долгое время считавшаяся переводом Иоанна Экзарха Болгарского с греческой грамматики Иоанна Дамаскина. Древнейший список этой грамматики, сербский, по-видимому, XV в., носит заглавие „о сьмь честыи слова“ (подразделение на восемь частей речи унаследовано славянской грамматической литературой от александрийских грамматиков). На сербское происхождение этого списка указывает уже самое заглавие (смещение *ы* и *и*, употребление *е* на месте общеславянского *ѣ* носового). Несомненные сербизмы имеются и в самом тексте. Так, например, о будущем времени там говорится: „Боудоущеѣ же в двое дѣлѣть се въ помалѣ бывающеѣ и въ боудоущеѣ... въ помалѣ бывающаго бити кю. будущаго же бити имаь“. Здесь выступает явно сербская форма будущего времени, образованная посредством редуцированной формы вспомогательного глагола *ћу* < *хоћу* (написание *к* с последующей „мягкой“ гласной буквой *ю* — обычный для сербских рукописей прием передачи звука *ћ*). По мнению И. В. Ягича, эта грамматика ошибочно связывается с именем Иоанна Дамаскина, грамматика которого в византийской литературе неизвестна. На славянской же почве она создана была, по-видимому, не Иоанном Экзархом,

а позднейшим компилятором. В литературе она известна под именем „Псевдодамаскина“.

Грамматика эта известна в нескольких русских списках, относящихся к XVI—XVII вв. Последние представляют собой не просто списки, но носят следы сознательной работы русских книжников. Один из этих списков, Синодальная рукопись XVI в., носит заглавие более полное, чем древнейший список: „стго Іоанна Дамаскина о ѡсмихъ частвхъ слова, елика пишемъ и глемъ“. Здесь имеется упоминание об Иоанне Дамаскине, отсутствующее в древнейшем из дошедших до нас списков. Специально сербские формы здесь устранены. Так, например, в соответствии с приведенной выше сербской формой, мы находим церковнославянскую: *бити хоцю* („въ помалъ бывающаго *бѣти хоцю*, боудущаго же *бѣти ймамъ*“).

К этому сочинению восходит, по И. В. Ягичу, первая наша печатная грамматика, а именно краткая „Словеньска грамматика“, изданная в Вильно в 1586 г. В Ленинградской публичной библиотеке имеется лишь неполный экземпляр ее без начала и со спутанными страницами.

Псевдодамаскин оказал влияние и на другие наши пособия грамматического характера, в частности, на изданный несколько ранее (в 1574 г.) во Львове Букварь Ивана Федорова, о котором подробнее см. ниже.

Большой интерес представляет славянский перевод латинской грамматики Доната, осуществленный в 1522 г. Дмитрием Толмачом. Дмитрий Герасимов, по прозванию Толмач, служил при Василии III, участвовал в посольствах в Швецию, Данию, Пруссию, Вену и Рим. Будучи собственно переводчиком с немецкого языка (учился он в Ливонии), он хорошо знал и латынь, являвшуюся, как известно, международным дипломатическим языком того времени. Он был, между прочим, в числе помощников Максима Грека при переводе с греческого Толковой псалтыри (поскольку Максим, по прибытии в Россию, еще плохо знал церковнославянский язык, ему были даны русские помощники, в их числе и Дмитрий Толмач). Об этом переводе он сам так писал дьяку Мунехину: „Ныне, господине, Максим Грек переводит Псалтирь с греческого толковую великому князю, а мы с Власом у него сидим переменяя: он сказывает по-латыньски, а мы сказываем

по-русским писарем“. Из этого можно предполагать, что сам Дмитрий Толмач греческого языка не знал или же знал плохо. Есть предположение, что и самый вызов Максима Грека был осуществлен по совету Дмитрия Толмача¹.

Латинская грамматика Доната была наиболее распространенным в средневековой Европе пособием для изучения латинского языка. Она неоднократно подвергалась переработкам. По ее образцу составлялись руководства для изучения различных живых языков Европы. В грамматической науке долгое время господствовало мнение, согласно которому единая грамматическая схема, и притом та, которая была выработана на материале классических языков — греческого, а особенно латинского, — применима ко всем языкам.

Подлинник перевода Доната, осуществленного Дмитрием Толмачом, до нас не дошел. Сохранились лишь два списка XVI же века: Казанский 1562—1563 гг. и менее исправный — Ленинградской Публичной библиотеки. Текст Казанского списка с разночтениями по Ленинградскому списку был издан И. В. Ягичем в его „Рассуждениях южнославянской и русской старины о церковнославянском языке“². Эти списки представляют собой, по-видимому, переработку первоначального текста: выкинута была латинская часть с тем, чтобы настоящее пособие служило руководством не латинского языка, как предполагалось сначала, а церковнославянского, поскольку, как уже было сказано, в те времена считалось, что схема, применимая к латинской грамматике, подходит для грамматики любого языка.

Первые печатные грамматики и вообще руководства церковнославянского языка появляются в том же XVI в. в юго-западной и западной Руси, т. е. на Украине и в Белоруссии. О причинах распространения печатной грамматической литературы именно там было сказано выше.

Среди пособий этого типа первым по времени является изданный во Львове в 1574 г. Букварь москов-

¹ См. В. Иконников. Максим Грек и его время. Киев, 1865, стр. 102—103.

² „Исследования по русскому языку“, изд. Акад. наук, т. 1, СПб., 1885—1895.

ского печатника Ивана Федорова, эмигрировавшего в Заблудов и затем во Львов.

Заглавие книги, определяющее ее содержание, находится на стр. 9 и имеет следующий вид: „á síà ázбѹка Ѡ кнѣги осмочáстныа, сирѣчь грам'матикѣи“. Книга эта содержит в первой части азбуку, буквенные сочетания — слоги — для упражнения в чтении (они предшествуют указанному выше заглавию), а также образцы склонения и спряжения церковнославянского языка, во второй части — различные церковнославянские тексты, которые также должны были служить материалом для чтения и запоминания: известный азбучный акростих, молитвы, символ веры, отрывки из Соломоновых притчей и из посланий апостола Павла. Единственный известный в настоящее время экземпляр этого издания находится в библиотеке Гарвардского университета в США. В 1955 г. этот букварь был опубликован в снимках к статье Р. Якобсона в бюллетене указанной библиотеки³.

В статье Якобсона содержится указание на наличие в Бодленской библиотеке в Оксфорде и в библиотеке Тринити-Колледжа в Кембридже в Англии экземпляров печатного не датированного церковнославянского букваря русского происхождения и приводятся выдержки из этого букваря. Последний, как устанавливает Якобсон на основании сравнения обоих букварей, не принадлежит Ивану Федорову, шрифт его является лишь имитацией шрифта нашего первопечатника.

Первую нашу печатную грамматику в собственном смысле, — поскольку указанные выше буквари лишь содержат некоторый грамматический материал, но подлинными грамматиками не являются, — представляет, как уже было сказано, грамматика 1586 г., восходящая к так называемому Псевдодамаскину.

В 1591 г., во Львове, вышла из печати греко-славянская грамматика *Ἀδελφότης*. Ее полное заглавие: „Ἀδελφότης. Грамматика доброглаголиваго еллино-словенскаго азѣка. Совершеннаго искѹства осми частѣй слова. Ко наказанію многоименитомѹ роѣйскомѹ рѹдѹ“. Грамматика

³ См. R. Jacobson. Ivan Fedorov's primer. Harvard library bulletin, vol. IX, Cambridge Mass. 1955, № 1.

эта была составлена учениками Львовского братского училища и имела целью служить руководством для изучения греческого языка. Греческие формы в ней переведены на церковнославянский язык, в котором отражаются и некоторые местные (украинские) особенности.

При этом в славянском переводе, который дается параллельно греческому тексту, повторены греческие характеристики форм, конечно, не соответствовавшие церковнославянским. Так, например, в разделе, посвященном третьему „супружеству“, т. е. спряжению, мы находим: „пою, исполняю, кончаю, или койчѣ, ѣхже бѣдѣе на σ, ѣко воспю, исполню, скончаю. протажѣнное на χ, ѣко, пѣвахъ, исполнѣхъ, кончѣхъ“. Под „протяженным“ здесь понимается греческий перфект, вероятно, вследствие того, что он длится и до настоящего времени, представляя результат, отнесенный к настоящему времени. И далее, например: „ω *πιατομъ*“ (подразумевается „*соупрѣжествѣ*“ — это слово стоит лишь в заголовке к первому спряжению — „ω *первомъ соупрѣжествѣ*“) „*Πιατοε* ѣсть четырѣхъ неѣмѣнныхъ, λ, μ, ν, ρ, ѣко пою пѣсѣ, сѣждѣ, сѣю. ѣхже бѣдѣе тѣмже неѣмѣннымъ, облеченное ѣсть прѣкончѣемый слогъ краткій ѣмѣющее (sic!) неѣмѣнное, или с двогласнаго излагающе ѣко воспю, оупасѣ. ѣсѣждѣ, посѣю, протажѣнное, на χ. ѣко, пѣвахъ, писѣхъ, сѣждѣхъ, сѣвахъ“.

Источником Адельфотиса послужила, в первую очередь, греческая грамматика Константина Ласкариса, вышедшая первым изданием в Милане в 1476 г., но использованы были и другие греческие грамматики, например, грамматика, известного гуманиста Меланхтона, вышедшая в XVI в. в Лейпциге, без указания года⁴. *Αδελφοτης* оказал определенное воздействие на последующие, уже собственно славянские грамматики Зизания и Смотрицкого.

В 1596 г. в Вильно вышла из печати известная славянская грамматика Лаврентия Зизания — „Грамматѣка Словенска съвершеннаго искусства осми чѣстѣи слова“. Лаврентий Зизаний происходил из Галиции, родом был

⁴ Об источниках *Αδελφοτης* см. К. Студинский. *Αδελφοτης*, — „Записки Наукового товариства ім. Шевченка“, т. VII, 1895, кн. 3, стр. 10 и сл.

русин, т. е. украинец. До 1592 г. он был учителем Львовского братского училища, но покинул его вместе с другими учителями в результате преследований епископа Гедеона Балабана. Где он получил образование, точно неизвестно, возможно, в иезуитской коллегии в Ярославле (Галиция). Но во всяком случае он был образованным человеком своего времени, знакомым, судя по письму монаха Скитского монастыря о. Леонтия львовскому горожанину Н. Золоторуцкому от 9 сентября 1633 г., „з наукою грецкою, латинскою и словенскою“. С 1595 г. он находился в Вильно, где, помимо грамматики, издал еще букварь под заглавием: „Наѣка кѣ читаню и розѣмѣню писмѣ Словѣского: тѣ ты ѿ стои трѣици, и ѿ въчловечѣнїи Гдни“. К этому букварю присоединен словарь под заглавием „Лѣкси, Сирѣчь Реченїа, Въкратѣцѣ събранны. И из словѣнскаго ѣзѣка на простѣ Рѣскїи дїалектѣ истолкованы“. Исследование этого словаря показывает, что под „простым русским диалектом“ Зизаний понимает свой родной украинский язык. Следует иметь в виду, что название „русский“ держалось долгое время в применении ко всем трех современным восточнославянским языкам. Ср., например, следующие толкования в этом словаре: „авва — тато, отецъ“, „аминь — заправды, або нехай такъ будеть“⁵.

Наконец, в 1619 г. в Евю, близ Вильно, вышла знаменитая грамматика М. Смотрицкого, оказавшая сильное воздействие на последующую грамматическую литературу как на Руси, так и в других славянских странах. Полное заглавие ее — „Грамматїки Славѣнскаго правїльное сѣнтагма, потщанїемѣ Мелетїа Смотрицкаго“. В 1648 г. эта грамматика с некоторыми видоизменениями и дополнениями была переиздана в Москве.

М. Смотрицкий родом был из Подолии, украинец. Первоначальное образование он получил под руководством своего отца, ректора Острожского училища, затем учился в Виленской иезуитской академии. В качестве наставника детей князя Соломерецкого совершил с ними

⁵ Подробнее о Зизании см. М. Возняк. Причинки до студїй над писаннями Лаврентїа Зизанїа. — „Записки Наукового товариства ім. Шевченка“, т. LXXXIII (1908), кн. 3.

заграничное путешествие, причем побывал в Лейпцигском, Нюрнбергском и Виттенбергском университетах. По возвращении из-за границы был учителем в школе в Евю, а по некоторым данным, первоначально — в Киевской школе⁶.

II

Язык, грамматический строй которого рассматривается в указанных выше грамматиках, — это язык церковнославянский, господствовавший в то время в литературе не только церковной. Форма языка, более близкая к живой речи, употреблялась тогда главным образом в памятниках юридического характера. Вследствие этого не у всех грамматистов существовало даже отчетливое представление о церковнославянском и русском (или украинском) языках как о языках различных. Так, Дмитрий Толмач даже термины „словенский“ и „русский“ употребляет недифференцированно, а как синонимы. Это можно видеть на основании сопоставления хотя бы следующих мест: говоря об употреблении в латинском языке sacerdos как в мужском, так и в женском роде, он указывает, что „в нашем же словѣнскомъ ꙗзыцѣ сѣ ѿма сѣенникъ не ѡбщаго рода, но мѣскаго, и не вратѣса ѿз рода в ро...“; а немного ниже о роде латинских aquila и milvus он пишет: „А идѣже здѣ аквіла и милвѣсъ не преведѣни на рѣское, тѣ подобае по латыньскіи (тѣ) именѣ смѣстна рѣда, а по рѣскіи же сѣ ѡба мѣска рѣда...“ Таким образом, здесь по совершенно подобному поводу говорится в одном случае „словенский“, в другом „русский“ язык.

Впрочем, Смотрицкий имел уже достаточное представление о различии между книжным церковнославянским и живым разговорным („русским“, по его терминологии, но речь в данном случае, как мы уже видели, идет собственно об украинском языке), о чем свидетельствуют его параллельные переводы с греческого на „словенский“ и „русский“. Ср., например: „оудѣржи ꙗзыкъ своѣ ѿ

⁶ Подробнее о Смотрицком см. Н. Засадкевич. Мелетий Смотрицкий как филолог. Одесса, 1883.

зла и оустнѣ своѣ ѣже не глати, л'стѣ — галмѣи изыкъ свои Ѡ злѡгѡ и устѣ твой нехай не мѡвѣтъ зрады“. В московском издании эти переводы как несоответствующие нормам русского (в нашем смысле слова) языка были опущены.

Наши грамматисты, как и грамматисты других стран того времени, во многом находятся под воздействием античной грамматической традиции. Это сказывается и в терминологии, и в системе расположения и подачи материала, и в трактовке тех или иных грамматических фактов. Эта античная традиция имеет двойкий источник, восходя в одних случаях к греческой, в других — к латинской грамматике. Ср., например, названия времен в Адельфотисе, сохраненные (с некоторыми отступлениями) и у Зизания (следует кстати сказать, что в Адельфотисе четыре прошедших времени в соответствии с греческим при трех у Зизания): *мимошедшее* (имперфект) — греч. *παράτατικός*, *протяженное* (перфект) — греч. *παρακείμενος*, термин взят, по-видимому, у Ласкариса, обычно в греческой грамматике *συντελικός* (по славянской форме это время, как и у Зизания, соответствует славянскому имперфекту), *прѣсьвершенное* (давнопрошедшее) — греч. *ὑπερσυντελικός*, *непредѣльное* (аорист) — греч. *ἀόριστος* (у Зизания *непредельное* в значении инфинитива). Ср. также употребление термина *вид* применительно к разграничению слов (вообще, не специально глаголов) производных и непроизводных. Так у Зизания: „³ω *видѣ* колѣко ѣсть *видѡвъ*, *Два. Первообра³ны* и *Прои во^лны*“, причем первый из них определяется „*ѣже ни Ѡ единѡго не про-*

^т*исходи*“, а второй „*ѣже Ѡйнѡдѡ, прои^сходи*“. Точно так же и в Адельфотисе: „^ω *видѣ. Виды жѣ два. Первообразный. ѣко, напѣю. Производный. ѣко напѣю*“. Такое употребление термина *вид* восходит к употреблению термина *εἶδος* еще у александрийских грамматиков — ср. у Дионисия Фракийца: „εἶδη δὲ δύο, πρωτότυπον καὶ παράγωγον, πρωτότυπον μὲν οὖν ἐστὶ τὸ κατὰ τὴν πρώτην θέσιν λεχθέν, οἷον γῆ. παράγωγον δὲ τὸ ἀφ' ἑτέρου τὴν γένεσιν ἐσχηκός, οἷον γαιήσιος“. (Τέχνη γραμματική). Как мы видим, и Дионисий Фракиец термин *εἶδος* (образ, вид) применял для разграничения первообразных и производных слов. К тому же как Зизаний, так и

Адельфотис говорят о виде не только в разделе, посвященном глаголу, но и в разделе, посвященном имени, и в разделе, посвященном наречию. Точно так же употребляется термин εἶδος и в греческой части Адельфотиса.

Терминологию, восходящую к греческой грамматике, мы находим и у Смотрицкого. И даже его понимание вида, хотя и отражающее некоторые новые черты, которые сближают его с современной трактовкой, в целом восходит к александрийским грамматикам, как и у авторов, рассмотренных выше.

Явно к латинскому источнику восходит терминология грамматики Дмитрия Толмача, что совершенно понятно, поскольку эта грамматика является переводом Доната. Ср., например, названия времени глагола: „*минѹвшее или прошедшее несвершенное*“ (у Доната praeteritum imperfectum), „*минѹвшее свершенное*“ (лат. perfectum), „*минѹвшее пресвершенное*“ (лат. plusquamperfectum); названия наклонений, например, „*союзный чин*“ (лат. modus coniunctivus) и т. п.

Количество различных склонений и спряжений в наших грамматиках соответствует количеству их в греческом или латинском языках, хотя славянская система склонения и спряжения (не говоря уже о системе живого русского или украинского языков XVI в.), конечно, сильно отличалась от норм, характерных для классических языков. Точно также стремятся наши грамматики следовать тем категориям, которые свойственны были грамматикам греческого и латинского языков, даже если ни в старославянском, ни в русском языке не было соответствующих форм, а для передачи хотя бы в сколько-нибудь приближенном виде значений этих категорий приходилось строить различные описательные выражения.

Трудно на первых порах осознать все грамматические особенности своего родного языка или близкого к нему церковнославянского книжного языка человеку, получившему грамматическое воспитание на базе классических языков: очень сильна грамматическая традиция. Мы знаем, например, что даже современные английские школьные грамматики в своей терминологии содержат многое из того, что восходит к античным грамматикам, пользуются такими грамматическими понятиями, которые

совершенно не свойственны грамматическому строю живого современного английского языка. И у наших первых грамматистов мы видим, что если, с одной стороны, они вводят под влиянием античной грамматики такие категории, которые совершенно не свойственны славянскому грамматическому строю, то, с другой стороны, у них отсутствуют некоторые весьма важные для нас категории только потому, что они отсутствовали в латинском и греческом языках. Лишь постепенно, со временем, категории эти находят себе место в наших грамматических руководствах.

Так, например, и латинский и тем более греческий языки характеризуется меньшим количеством падежей, чем старославянский и русский. Ни в одном из классических языков нет особого падежа, соответствующего нашему местному (впоследствии предложному). И этот падеж не находит себе места в наших первых грамматиках. Так, Дмитрий Толмач, перечисляя падежи (по его терминологии *падения*, ср. лат. *casus*), приводит, в соответствии с латинскими нормами, шесть падежей (включая звательный), причем шестой латинский падеж, *Ablativus*, называет „отрицательным“: „падения именователнаго, звательнаго, родственнаго, дателнаго, виновнаго, отрицательнѣ“ (см. Ягич, указ. соч., стр. 825). Все названия падежей, кроме последнего, довольно близки к нашим современным, во всяком случае, образованы от тех же корней. В этих названиях, как у нас, так и у Дмитрия Толмача, отразилась античная грамматическая традиция. В качестве же примера на этот „отрицательный“ падеж дано „*Ŭ* сего оучителѧ“. Дмитрий не использовал в данном случае творительного падежа, значения которого соответствуют части значений *ablativus'a*, а повторил родительный падеж, только с предлогом, значение которого соответствует собственно отложительной части значений *ablativus'a*, фигурирующего в значении удаления часто в сочетании с предлогом *ab*, соответствующим нашему *от*. Впрочем, у Зизания уже имеется творительный падеж.

И в то же время даже самые первые наши грамматисты проявляют в известных случаях большую проницательность, тонко подмечая различия, существующие между разными языками. Правда, образцом в тех слу-

чаях, когда речь идет о различии латинского и греческого языков, могли служить римские грамматисты, которые на эти различия уже обращали внимание. Так, у Дмитрия Толмача мы находим следующее замечание по поводу различия в количестве падежей между латинским и греческим языками: „*Первое* же с^а книга со^тдержи в себѣ вкратцѣ ѿ ѿсми^х ч^асте вѣщ^ани и ѿ па^дѣние именѣ, иже с^бть концы ѿ всѣ^х име падѣн^ии же у всѣхъ име сирѣчь концо п^ать, и уклонѣн^ии п^ать же по грѣчески, а по латински^и шесть“ (стр. 816).

Но если здесь Дмитрию и могла служить образцом римская грамматическая традиция, то никоим образом она не могла ему служить там, где он говорит о различиях латинского и славянского и даже русского языков. Так, он неоднократно обращает внимание на различие в роде имен существительных одного и того же значения, имеющее место в латинском и славянском языках. Например, он указывает на то, что латинское sacerdos может быть как мужского, так и женского рода (это существительное в латинском языке обозначало как жреца, так и жрицу), тогда как соответствующее по значению славянское *священник* может быть только мужского рода:

Икоже ѿ сѣмъ ѿбразе еди прелож^д ест^ь во имене л^ат^ыньскихъ има сасерд^бсь (и /еже по н^ашему г^лзыкъ словѣнскомъ протолк^етс^я с^щенникъ. и ест^ь с^ия й^ма по лат^ыньски^и р^ода ѿбщ^аго, сирѣ м^сскаго и ж^ньскаго, и врат^итс^я из р^ода в р^о и из конч^аниа во ин^ое конч^ание, сирѣчь на м^сское и ж^нское, с^ице с^еи и с^иа сасерд^бсь, сирѣ с^еи и с^иа с^щенникъ. в н^ашем же словѣнскомъ г^лзыцѣ с^ие й^ма с^щенникъ не ѿбщ^аго р^ода, но м^сскаго, и не врат^итс^я йз р^ода в р^о, и ис конч^аниа во и^ное конч^ание, но т^окмо с^ице оуклан^ас^я с^еи с^щенникъ и ^аще же в то м^всте того ймен^и не в^ыставить, и ин^ого в тог^о

мѣстѣ не поставити ѿбщаго рода, то не ѿдѣль возможно быти емѣ в лѣпотѣ в нашемъ словѣнско^м язѣцѣ. сице же раздѣлѣвай и ѿ прѣчи“.

Также и по поводу рода существительных *орел* и *коршун*:

„А идѣже здѣ аквила и мил'вѣсъ не преведѣни на рѣское, тѣ подобае по латыньскїи (тѣ) именѣ смѣстна рода, а по рѣскии же сѣ ѿба мѣска рода ѿ еже аквила сирѣчь ѿрѣль, а мил'вѣсъ сирѣчь коршун“.

Наши древние грамматисты проявляют порой очень тонкое понимание не только частных особенностей, касающихся грамматической природы отдельных слов, но и более общих грамматических различий, характерных для грамматического строя восточнославянских языков (и именно языков их времени, т. е. XVI—XVII вв.). Эти различия порой ясно видны сквозь парадигмы церковнославянские (т. е. в основе старославянские), составляющие главный объект изложения, и сквозь категории, навеянные традицией античной грамматики.

Дмитрий Толмач, Зизаний и авторы Адельфотиса не имели теоретического представления о грамматической категории вида (в нашем понимании этого термина), поскольку эта категория не нашла себе отражения в античной грамматике. Но они отчетливо осознавали видовые различия глагола, что видно из приводимых парадигм.

У переводчика Доната обнаруживается некоторая путаница в прошедших временах (за исключением „пресвершенного“). Неизвестно, впрочем, (поскольку мы имеем дело не с подлинником, а со списками, и не вполне исправными), принадлежит ли эта путаница самому Дмитрию или последующим переписчикам (или даже редакторам). Но приводимые в грамматике формы будущего времени и повелительного наклонения ясно об этом осознании видовых различий свидетельствуют.

„Градѣщее или бѣдѣщее“ время у Дмитрия Толмача последовательно выражается приставочными глаголами, причем эти глаголы, в современном русском языке отчетливо выступающие в качестве глаголов совершенного вида, представлены как формы однокоренных с ними

глаголов, настоящее время которых дано в бесприставочной форме и в точности соответствует настоящему времени несовершенного вида. Так, мы находим будущее время *возлюблю* при настоящем *люблю*, *восхожд* при настоящем *хожд*, *научю* при настоящем *учю*, *почтѣ* при настоящем *чтѣ*, *услышѣса* при настоящем *слышѣса*. От этого последнего глагола в изъявительном наклонении дано почему-то лишь будущее время страдательного залога (его Дмитрий передает посредством возвратной частицы *-ся*), будущее же время действительного залога пропущено. Все приведенные здесь формы будущего времени и для нас являются формами будущего времени совершенного вида. Дмитрий еще не пришел к пониманию того, что такие формы, как *люблю* и *возлюблю* являются формами разных глаголов, но он уже отчетливо осознает, что форма *люблю* представляет настоящее, а *возлюблю* будущее время, и понимает, что это различие достигается наличием и отсутствием приставки. В этом отношении латинский язык, конечно, не мог ему дать образца, необходимо было тонко чувствовать отношения своего живого языка (видовые же отношения, характерные для современного русского языка, в основном характерны были и для времени написания перевода Доната: они сложились задолго до XVI в.).

Как видно из приведенных примеров, Дмитрий Толмач пользуется главным образом простой формой будущего времени (совершенного вида). Но известна ему и сложная форма будущего времени, образованная посредством сочетания инфинитива с формой вспомогательного глагола *буду*, причем в данном случае он употребляет инфинитив несовершенного вида, что опять-таки соответствует нормам современного русского языка и несомненно соответствовало нормам живого языка XVI в., хотя в качестве книжной формы мы и находим еще в памятниках XVI в. в составе сложной формы будущего времени инфинитив от глаголов совершенного вида⁷. Так, в соответствии с латинским причастием будущего времени у Доната — *amaturus* — мы находим в обоих

⁷ См. С. Д. Никифиров. Глагол, его категории и формы в русской письменности второй половины XVI века. М., 1952, стр. 180.

списках *яко бѣдетъ любити* (здесь, кстати, интересно обратить внимание на то, что причастный оборот с отсутствующим в русском и старославянском языках причастием будущего времени передается придаточным предложением с подчинительным союзом).

В повелительном наклонении, в связи с различием соответствующих категорий в латинском языке, Дмитрий Толмач различает настоящее и будущее время („*градѹщее*“). И здесь для выражения будущего времени последовательно используются приставочные образования совершенного вида. Ср. настоящее время—*люби, слушаи или слыши, ѹчи*; *градѹщее*—*да возлюбиши ты, услыши ты, да надчиши ты*. И здесь, как мы видим, используются те же приставочные образования, что и для выражения будущего времени изъявительного наклонения.

Но наибольший интерес в плане осознания им видовых (а отчасти и временных) особенностей русского языка его времени представляет у Дмитрия Толмача „*минѹвшее пресвершенное*“ время, соответствующее латинскому плюсквамперфекту.

В то время как латинский имперфект и латинский перфект передаются обычно формами аориста, лишь с редкими отступлениями в сторону имперфекта, латинский плюсквамперфект („*минувшее пресвершенное*“) последовательно выражается имперфектом, за исключением редких случаев путаницы в формах, основа же глагола последовательно представлена в виде бесприставочных образований с суффиксом *-ива-*, *-ыва-*, например, *люблива*, *любливаше*, *любливалъ тои*, а множественн^х—*люблива-*

хомъ, *любливате*, *любливахѹ тиї*“. В 3-м л. ед. ч. наблюдается отступление в сторону перфекта. Но поскольку перфект в XVI в. являлся уже единственной живой формой прошедшего времени (за исключением, может быть, лишь некоторых остатков старого давнопрошедшего времени), постольку отступления в сторону перфекта возможны от любой формы старого простого прошедшего времени, чаще всего во 2-м л. ед. ч., а у Дмитрия Толмача и в 3-м л. ед. ч. (такие отступления у него встречаются и от формы аориста, передающей, как уже сказано, латинский имперфект и перфект). Большинство приведенных выше форм в древнерусском языке могли

быть как формами стянутого имперфекта (обычными уже для древнейших русских памятников), так и формами аориста; но форма 3-го л. мн. ч. определенно указывает на имперфект. Форма 2-го л. мн. ч. по характеру элемента, предшествующего личному окончанию, совпадает с соответствующей формой аориста, но этот элемент в таком виде уже в языке древнейших русских памятников был свойственен и 2-му л. мн. ч. (а также 2 и 3-му. двойств. ч.) имперфекта.

Указанная глагольная основа последовательно представлена в плюсквамперфекте от самых различных глаголов. Ср. *учива* (от *учю*), *хачива* (от *хоцѣ*) и т. д. Плюсквамперфект вспомогательного глагола в части форм образуется от основы *быва-*, однако с некоторыми отступлениями в сторону старых форм имперфекта от *быти* и того аориста, который функционировал уже в древнейших памятниках (притом не только в древнерусских, но и в старославянских) в значении имперфекта: *бѣ*, *быва*, *быва еси*, *бѣаше*, *бывахо*, *быва́сте*, *бывахѣ*.

Употребляя приведенные выше формы для интерпретации плюсквамперфекта, т. е. давнопрошедшего времени, Дмитрий Толмач очень тонко подметил одну специфическую особенность живого русского языка, ярко отражившуюся в русских памятниках более близких к живому языку именно в XVI—XVII вв. Известно, что так называемые многократные бесприставочные глаголы на *-ива-*, *-ыва-* могли иметь значение не только повторяемого действия, но и действия давно и длительно бывшего, хотя бы и непрерывного. Поэтому такие глаголы употреблялись специально в прошедшем времени. Такое употребление этих основ, хотя и сведенное к минимуму на протяжении последующего развития литературного языка, сохранилось и довольно широко распространено в значительной части современных северновеликорусских говоров. В силу такого значения рассматриваемые формы легко могли быть использованы для передачи латинского плюсквамперфекта, который, как известно, не только выражал преждепрошедшее действие, но мог выступать и в независимом предложении, выражая в данном случае просто нечто давно бывшее. Понятно также, почему автор, не утративший еще окончательно понима-

ния временного значения старославянского и древнерусского имперфекта (а многие наши книжники, на что указывают многочисленные факты, хотя и не употребляли старых временных форм в качестве живых, в то же время еще достаточно четко осознавали их значение), мог употребить именно эту временную форму (т. е. имперфект) от данной основы для передачи плюсквамперфекта. Имперфект в древнерусском языке, как и в других индоевропейских языках, часто употреблялся при описании нравов, обычаев, длительно существовавших институтов (ср. хотя бы описание славянских обычаев в начале Повести временных лет, ведущееся в имперфекте). Значение имперфекта в известной мере близко к значению позднее развившихся форм на *-ива-*, *-ыва-*, явившихся в известной мере по своему значению наследниками древнего имперфекта. Интересно, что уже в Повести временных лет встречаются формы имперфекта, образованные именно от основы на *-ива-*, хотя еще с приставкой (бесприставочные образования развиваются позднее): ср., например: „оумыкиваху оу воды дѣвица“ (Лавр. летоп.).

Приведенные выше формы показывают, что Дмитрий Толмач подметил и еще одну особенность, свойственную грамматическому строю русского языка его времени, а именно ступень *a* в чередовании с *o* в глагольных основах, выражающих большую длительность или ^x повторяемость действия, представленную в форме *хачива* и т. п. Эта ступень широко распространена в подобных образованиях в современных северновеликорусских говорах, сохранивших эти образования, и широко употреблялась в русских памятниках XVI—XVII вв. Часто встречаем мы в этих памятниках и форму специально от этого глагола (*хачивал*). И интересно обратить внимание на то, что поскольку в данном случае Дмитрий Толмач использовал форму, свойственную живому, разговорному языку (церковнославянскому книжному языку, как и старославянскому, эта форма не была свойственна), он дает здесь и чисто русское чередование согласных (*m/ч*), хотя в настоящем времени от этого же глагола взята ступень, свойственная церковнославянскому языку — *щ* (ср. *хошѣ*).

Все сказанное говорит о тонком понимании Дмитрием Толмачом грамматических особенностей живого современного ему русского языка. О тонкости понимания свидетельствуют и Адельфотис и Грамматика Лаврентия Зизания. И там обнаруживаем мы некоторые черты, роднящие их с переводом Доната, при некоторых в то же время отличиях. Живой язык этих авторов различен — русский у одного, украинский у других, но оба языка весьма близки друг к другу, характеризуются наличием большого количества общих черт.

Расхождения объясняются, с одной стороны, все же имеющимся различием в грамматическом строе русского и украинского языков того времени (т. е. XVI в.), с другой же стороны, тем, что перевод Доната — рукопись, а Адельфотис и Грамматика Зизания — печатные издания. Именно последним обстоятельством может объясняться большая последовательность в употреблении форм в Адельфотисе и у Зизания при некоторой путанице (в отдельных местах) у Дмитрия Толмача. Путаница эта в части случаев могла быть внесена и позднейшими переписчиками. В некоторых случаях печатные грамматики отличаются от Дмитрия Толмача более полным следованием старославянским образцам и большей искусственностью в построении форм. Это отличие также может объясняться тем, что это — печатные издания, а также большей прочностью церковнославянской грамматической традиции в юго-западной и западной Руси.

Эта искусственность выражается, в частности, в средствах разграничения „протяженного времени“, т. е. имперфекта, и „пресвершенного времени“, т. е. плюсквамперфекта. В то время как „мимошедшее“ время выражается формой аориста, оба эти времени выражены формой имперфекта. Но в то время, как „протяженное“ время выражено стянутой формой имперфекта, „пресвершенное“ выражается нестянутой формой. Ср., например, у Зизания „протяженное — пвлл^x , $\text{пвлл}^x\text{л}^x\text{ь} \text{ѣсѣ}$, ла. ло. и $\text{пвлл}^x\text{ше}$, $\text{пвлл}^x\text{ховѣ}$, $\text{ва. пвлл}^x\text{ста}$, пвлл^x “ (конец страницы, а конец парадигмы на следующей странице почему-то отсутствует), „пресвершенное — $\text{пвлл}^x\text{а}$, $\text{пвлл}^x\text{л}^x\text{ь} \text{ѣсѣ}$, $\text{пвлл}^x\text{аше}$, $\text{пвлл}^x\text{ал}$, $\text{пвлл}^x\text{аховѣ}$, $\text{пвлл}^x\text{аста}$, аста , $\text{пвлл}^x\text{ахо}$, пвлл^x “

áste, гвлáхѣ, гвлáша“ (в последнем случае, наряду с формой имперфекта, для выражения 3-го л. мн. ч. приведена форма аориста, некоторые случаи непоследовательности в употреблении форм встречаются все же и здесь). И такие отношения проведены последовательно: ср. протяженное время—*спса, глаша, въстава* и т. д. пресвершенное время—*спсаа, глашаа, въставаа* и т. д. Так же и в Адельфотисе: ср., например—*„Протажѣнное, ѡко, бѣа. Пресъвершенное, ѡко бѣаа*“ и т. п. Следует заметить, что таких различий мы не находим у Псевдодамаскина. И в то же время в последующей грамматической литературе это искусственное разграничение, не свойственное в древности ни старославянскому, ни древнерусскому языку, отразилось. Так, Смотрицкий использовал эти же средства для разграничения *мимошедшего* и *прешедшего* времени. Мимошедшее, по Смотрицкому, образуется от 1 л. прешедшего времени, „растворяемого другим азом“, например, *читáхъ—читаахъ*.

Более последовательно, чем у Дмитрия Толмача, проведена у Зизания характерная для нашего книжного языка XVI в. замена форм аориста и имперфекта формами перфекта для 2-го л. ед. ч., т. е. в парадигмах, содержащих остальные лица в формах аориста или имперфекта, 2-е л. ед. ч. обычно приводится в форме перфекта (обычно со связкой). Ср., например: „мимошедшее—*гвѣихъ, гвѣѣль еси, ла. ло. ѡ гвѣи, гвѣи, гвѣиховѣ, ва, гвѣѣста, гвѣѣста, гвѣѣхо, гвѣѣсте, гвѣѣша*“, „протяженное—*гвлá, гвлáль еси, ла. ло. и гвлáше, гвлáше*“ и т. д., „пресвершенное *гвлáа, гвлáаль еси, гвлáше*“ и т. д. Наблюдаются лишь незначительные колебания. Такое разграничение отразилось и в последующей грамматической литературе, прежде всего у Смотрицкого, а также и в исправлениях, предпринятых Максимом Греком. И оно не было лишь искусственным нововведением наших грамматистов: мы находим это разграничение и в нашей книжной литературе XVI в., пользовавшейся древними, уже не живыми ни для русского, ни для украинского языка, формами прошедших времен: аорист и имперфект в наших памятниках широко употребляются в формах всех лиц, кроме

2-го л. ед. ч. (во 2-м л. ед. ч., за немногими исключениями, стоит перфект). Такое распределение форм находим мы, например, в сочинениях Ивана IV и Курбского. У Зизания и в Адельфотисе, в отличие от Дмитрия Толмача, отсутствует использование глагольных основ на *-ива-*, *-ыва-* для выражения плюсквамперфекта (вместо этих образований и использует Зизаний искусственно образованные нестянутые формы имперфекта). Это может объясняться, с одной стороны, тем, что они в большей степени следовали церковнославянским образцам, тогда как форма на *-ива-*, *-ыва-* в старославянском языке отсутствовала, с другой же стороны, тем, что эти основы, широко распространенные в говорах русского языка, не были свойственны украинскому языку. Формы эти, свойственные юго-западным, т. е. украинским памятникам до XV в. включительно, в XVI в. заметно уступают другим образованиям⁸.

Но наблюдаются у Зизания и в Адельфотисе также и факты подобные тем, которые мы уже видели у Дмитрия Толмача. Так, подобно переводчику Доната, Зизаний и авторы Адельфотиса отчетливо осознают видовые различия славянского глагола. Это видно и по тем формам прошедших времен, которые они приводят, и даже яснее, чем у Дмитрия, если оставить в стороне плюсквамперфект; особенно же ясно — в будущем времени, повелительном наклонении и инфинитиве. Зизаний редко употребляет сложную форму будущего времени (так же, как и Дмитрий Толмач), но если употребляет, то от глаголов заведомо несовершенного вида (и опять-таки так же, как Дмитрий Толмач), например: *бѣти ѿма илѣ бѣдѣ*. Будущее время у Зизания (так же, как у Дмитрия Толмача) чаще имеет простую форму, причем последовательно образуется от основы совершенного вида. Ср., например, будущее время *спасѣ* (при настоящем времени *спасáю*), будущее время *въвлю* (при настоящем времени *въвляю*), будущее время „молитвенного“, т. е. желатель-

⁸ См. П. Житецкий. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке, Киев, 1889, стр. 110—111; ср. также И. И. Ковалик. Структурні типи многократних дієслів в українській мові. — „Вопросы славянского языкознания“, кн. II, Львов, 1949.

ного наклонения *да въстанѣ* (при настоящем времени *въставáю* или *встаю*). Здесь так же, как и у Дмитрия Толмача, включаются в одну парадигму различные видовые образования от одного глагольного корня. Только, в отличие от Дмитрия, Зизаний редко использует приставочные образования, а обычно пользуется различиями основ, определяемыми различиями глагольных классов, причем настоящее время обычно образуется у него (в противоположность будущему) от основ производных глаголов III класса.

Различая (подобно латинской грамматике) в повелительном наклонении и в инфинитиве настоящее и будущее время, Зизаний также первое образует от основы несовершенного, а второе от основы совершенного вида. Ср. настоящее время повелительного наклонения *гвѣлѣй*, *спасѣй*, будущее время *гвѣви*, *спаси*. В „непредѣльном образе“, т. е. в инфинитиве, настоящее время *спасѣти*, *въставати*, *гвѣлѣтисѣ*, будущее время *востати* (здесь, кстати сказать, употреблено приставочное образование, вообще для Зизания редкое), *спасити*, *гвѣлитисѣ*.

Подобно Дмитрию Толмачу лишь настоящее время инфинитива и повелительного наклонения вспомогательного глагола образованы у Зизания от основы *-быва-*. Ср. в „повелительном образе“ настоящее время *бывѣй* и будущее *бѣди*, в „непредельном или необавном образе“, т. е. в инфинитиве, настоящее время *бывѣти* и будущее *бѣти*.

Видовые различия отчетливо выступают и в Адельфотисе, причем здесь чаще, чем у Зизания, используются приставочные образования. Так, например, в разделе, озаглавленном „*ω* первомъ соупрѣжествѣ“ (т. е. спряжении), в соответствии с формами настоящего времени *пріемлѣю*, *оукрашаю*, *пишѣ*, *бѣю* даются в качестве форм будущего времени (*их'* же *бѣдѣщее*) *пріимѣ*, *оукрашѣ*, *напишѣ*, *оубѣю*. Все эти глаголы приставочные, совершенного вида, среди же глаголов настоящего времени, которые все являются глаголами несовершенного вида, имеются два производных приставочных. В разделе, посвященном „второму супружеству“, вслед за формами настоящего времени—*глаголю*, *плетѣ*, *текѣ*, *рождѣ*—идут формы будущего времени тех же глаголов—*рекѣ*, *оуплетѣ*, *потекѣ*, *оурождѣ*—т. е. все сплошь, за исключением пер-

вого, приставочные (первый глагол — *рекѡ* — является членом обычной еще для старославянского языка древнейших памятников видовой пары, образованной от различных корней — *глаголати* — *реци*), и т. д.

Факты живого языка и их тонкое осознание составителем отражаются и в Букваре Ивана Федорова, хотя и в иных сферах, чем в рассмотренных выше грамматиках. Самые парадигмы, приводимые, как уже было сказано, в букваре, не дают материала, подобного рассмотренному выше. Обнаруживая сильное воздействие со стороны так называемого Псевдодамаскина, они отступают от норм не только живого русского (или украинского) языка того времени, но и принятого на Руси церковнославянского стандарта. Так, в формах настоящего времени, приводимых в этих парадигмах, 1-е л. ед. числа имеет окончание -А, как это следует по среднеболгарским нормам в результате объединения юсов, например: *въразумлѡА. въразѡмлѡеши. въразѡмлѡеть* и т. д., *глаголѡА. глаголѡеши, глаголѡеть* и т. д., *даА... даѡеши. даѡеть* и т. д. Эта форма, на что указал еще Р. Якобсон, чуждая говору самого составителя, была, по крайней мере, в некоторых случаях, осознана им как деепричастие, о чем свидетельствует порой ударение, а также возможность сочетания с местоимением не 1-го л. — *онѡ, ср., например, бѡдѡ. ѡнѡ*. Впрочем, форма на -А могла быть поддержана и соответствующими польскими формами.

Следует отметить, что в последующих наших грамматиках украинского происхождения, о которых уже была речь выше, в соответствующей форме представлены окончания -у, -ю.

В рассматриваемом букваре представляет большой интерес различие между формами в парадигмах и формами в церковнославянских текстах для чтения и запоминания. Последние, в отличие от форм среднеболгарских, а может быть частью и украинских, отражают принятый на Руси стандарт церковнославянского книжного языка. Так, для 1-го л. ед. ч. настоящего времени, в соответствии с указанным выше окончанием -А для парадигм, мы находим в текстах лишь -у, -ю, например: „*прошѡ и молюсѡ тебѡ, чаю въскрнѡ мѡртѡвымѡ*“ и т. д. Для 1-го л. мн. ч.

в соответствии с окончанием *-мо* в парадигмах, возникшим под среднеболгарским, а может быть и украинским влиянием, мы находим в текстах *-мъ*. Ср., с одной стороны: *но̀симо, твoри́мо* и т. д., с другой: „*ѣкоже и мы оставлѣмъ долъ/жникoмъ на̀ши*“; „*Прѣйдѣте поклонимса*“ и т. д.

Наряду с церковнославянскими встречаются в текстах и формы, характерные для живого языка (русского или украинского). Так, встречается здесь форма сложного будущего времени, состоящая из сочетания инфинитива со вспомогательным глаголом *буду*; ср.: „*ѣко сѣдѣти бѣдетъ гѣ крѣвду его̀; бѣдешъ оубо имѣти надеждѣ въ послѣднѣи часѣ; ра̀доватиса бѣдетъ с тобо̀ю срце моѣ, и веселѣтиса бѣдѣтъ лѣдѣви мой, вѣнегда̀ правдѣ възглю̀ оустѣ твоѣ*“. Эта форма появляется впервые (если не считать совершенно единичного случая в Русской Правде) в западнорусских памятниках в конце XIV в., в XVI же веке она начинает проникать, по-видимому, и в собственно русский (великорусский) язык.

Факты живого языка отражаются также в ударении. Рассматриваемый букварь не только акцентуированный, как многие издания и рукописи XVI—XVII вв., но характеризуется сознательным отношением его составителя к роли ударения в нашем языке. В разделе, посвященном „прозодии“, он специально подбирает слова и формы, различающиеся лишь местом ударения, например, *варѣте* (повел. накл.) — *варѣтѣ* (наст. время), *любѣте* — *любѣте*, *носѣте* — *носѣте* и т. д., *мѣка* — *мѣка* и т. д.

Особо заслуживает внимания, используемая им архаическая форма 2-го л. мн. ч. настоящего времени с ударным окончанием, характерная для северновеликорусских говоров и украинского языка.

Украинские черты отражаются также в выходных данных букваря, приводимых в самом конце его: „*Вѣдруковано во лѣвѣв рѣкѣ, а, фѣд*“⁹.

⁹ Подробнее относительно этого букваря см. мою заметку „Букварь Ивана Федорова“ („Вопросы языкознания“, 1956 г., № 2).

III

Все приведенные факты говорят о том, что наши грамматисты XVI в., хотя и пользовались грамматическими понятиями, не свойственными нашему грамматическому строю, хорошо знали нормы церковнославянского, т. е. в основе своей старославянского языка, и тонко ощущали грамматические особенности своего родного языка, русского и украинского.

Но в особенности проявил самостоятельность в подходе к фактам славянских языков, хотя и он в известной мере был скован античной грамматической традицией, М. Смотрицкий, грамматика которого оказала такое большое влияние на развитие последующей грамматической науки как на Руси, так и в других славянских странах.

В фонетическом (собственно орфографическом, т. к. он ясно не разграничивал еще букв и звуков) разделе он, подобно предшествующим грамматикам, следует в основном греческой грамматической традиции, подразделяет, например, гласные в количественном отношении согласно тем нормам, которые существовали еще в древнегреческом языке классического периода и перешли затем в греческие грамматики позднейшего времени (он считает, например, *и, ѳ, ѱ* за долгие, *е, о* за краткие, *а, ї, ѵ* за „двоевременные“, т. е. могущие быть и долгими и краткими). Однако Смотрицкий проявил и здесь известную самостоятельность. Так, он обратил внимание на отсутствие свойственного им собственного звукового значения у *ѳ* и *ѵ* его времени. Он называет их „припряжногласными“, т. к. они сами по себе „гласа издати не могут“. Он же обратил внимание на двоякое произношение *г*. Но в то же время в правилах употребления букв мы находим у Смотрицкого много искусственного и совершенно не соответствующего реальному положению вещей в языке.

В грамматике, следуя традиции, восходящей к александрийским грамматикам, Смотрицкий устанавливает восемь частей речи, но при этом обращает внимание на то, что член (*ἄρθρον*) греческой грамматики, принимаемый предшествующими грамматистами, славянской грамматике чужд: „*Ἄρθρον, сирѣчь часть слова различіемъ называемую славенскому языкови не свойственну оставихомъ.*“

Мѣстоименію долгъ ея доволнѣ исполняющу. Во осму же слова часть, междометіе, латински *interiectio* называемую свойственнѣ прияхомъ“. Впрочем, в устранении члена он имел перед собой образцом латинскую грамматику, новой частью речи которой, междометием (*interiectio*), он и воспользовался.

Самостоятельнее, чем предшествующие наши грамматисты, подошел Смотрицкій к славянскому склонению. Именно он к шести падежам грамматики Зизанія добавил *сказательный падеж* (наш предложный). Исследователь грамматики Смотрицкого, Н. Засадкевич, указывает, что термин *сказательный падеж* в значении „предложный“ употреблялся еще Максимом Греком¹⁰. Однако, как признает сам Засадкевич, в статье Максима Грека, посвященной грамматике и ее значению, число падежей соответствует числу их в упоминавшейся уже выше грамматике, приписываемой Иоанну Экзарху Болгарскому (в этой статье Максим Грек прямо и ссылается на грамматику Иоанна Дамаскина, славянским переводом которой и считалась грамматика, приписываемая Иоанну Экзарху): разбирая сочетание, *на небеси* Максим Грек рассматривает *небеси* как „имя нарицательное от неуправляемых, рода среднего, числа единств., начертания простаго, падежа дательнаго или сказательнаго, склонения втораго“, о сочетании же *на земли* прямо говорит „падежа сказательнаго“. Но принадлежит ли этот термин самому Максиму Греку? Статья, в составе которой имеется приводимый здесь разбор Молитвы господней, напечатана в конце грамматики Смотрицкого в московском издании ее 1648 г. По указанию И. В. Ягича¹¹, эта статья действительно приписывалась в старину Максиму Греку, в доказательство чего Ягич ссылается на то обстоятельство, что она находится в составе наиболее полного рукописного сборника сочинений Максима Грека. Но сборник этот поздний (XVIII в.), и, как указывает сам Ягич, текст рассматриваемой статьи в нем воспроизводит текст из состава грамматики Смотрицкого (издания 1648 г.). Поскольку же в составе теоретической части статьи термина *сказательный падеж* нет, а впервые этот тер-

¹⁰ См. Н. Засадкевич. Мелетий Смотрицкій как филолог. стр. 67.

¹¹ См. И. В. Ягич. Рассуждения. . . , стр. 585—586.

мин употреблен как синонимичный термину *дательный падеж* (по нормам же греческого языка в соответствии с славянским местным падежом или, по терминологии Смотрицкого, сказательным здесь должен был быть употреблен именно дательный падеж), не следует ли предполагать, что термин *сказательный падеж* принадлежит не самому Максиму Греку, а введен московским издателем Смотрицкого для приведения в соответствие текста разбора молитвы с текстом грамматики?

Установление в падежной системе именно тех падежей, которые свойственны славянским языкам, является крупным достижением Смотрицкого и свидетельствует о том, что он не только верно ощущал различия, существующие в языке, но и умел теоретически осмыслить, сформулировать их. В этом он идет впереди многих даже последующих по времени западноевропейских грамматистов, укладывающих формы живых современных языков — немецкого, французского, английского — в прокрустово ложе латинской грамматики.

Учет особенностей славянских языков и отход от слепого следования античной грамматической традиции отражается и в других частях грамматики Смотрицкого, особенно в разделе, посвященном глаголу. Правда, полностью формулировать именно славянскую систему спряжения он еще не смог и насчитывает столько же времен и наклонений, сколько в греческом языке (следует, впрочем, иметь в виду, что старославянский и древнерусский язык обладали теми же прошедшими временами, что и греческий). Но именно Смотрицкому принадлежит, в соответствии с нормами собственно славянскими, установление двух спряжений, из которых первое во 2-м л. ед. ч. оканчивается на *-еши*, а второе на *-иши*. Эти два спряжения характеризуют и современный русский язык и нашли отражение в грамматике этого языка, как школьной, так и научной. Предшествующие Смотрицкому грамматисты следовали количеству четырех латинских спряжений, помещая в качестве образцов этих спряжений парадигмы таких различных глаголов, которые по существу в славянских языках различных спряжений не образовывали.

Но что особенно существенно — у Смотрицкого мы находим намек на понимание такой специфической осо-

бенности грамматического строя славянских языков, как вид. Правда, только намек: четкого представления о виде в нашем смысле слова он еще не имел. Смотрицкий разделяет глаголы на два вида — первообразный, „иже и совершенный“, и производный. Само это подразделение по существу то же, что у Зизания, и так же восходит к понятию εἶδος александрийских грамматиков. И совершенно очевидно, что термин *совершенный вид* употреблен не в нашем смысле (примерами на него являются такие глаголы, как *чтѣ, стою*). Но *производный вид*, чего не было у Зизания, подразделяется на *начинательный* (*каменью, презвю*) и *учащательный* (*читаю, бѣгаю*). Смотрицкий обратил внимание на различные частные случаи несовершенного вида. Что особенно интересно, он выделил особо глаголы многократные, которые среди других глаголов несовершенного вида характеризуются в современном русском языке (а также и в других славянских языках) своими грамматическими особенностями. К ним отнесен и глагол *читаю*, который в современном языке такого значения не имеет, но некогда мог иметь: он является производным от *чту*, ныне употребляющегося в ином лексическом значении, корневое же *i* (чередующееся с *ь*) указывает как будто на первоначально итеративное значение. Интересно, что именно учащательным глаголам свойственно, по Смотрицкому, особое время — „мимошедшее“, — образованное тем же искусственным способом, каким образуется у Зизания „пресвершенное“ время, т. е. использованием старой нестянутой формы имперфекта (*читаахъ*). Употребление именно этого времени специально от глаголов учащательных следует сопоставить с употреблением имперфекта от многократных глаголов у Дмитрия Толмача (см. выше). Следует заметить, что формы „учащательного“ вида мы находим у Смотрицкого и образованные от собственно многократной основы *читова-* (а не только от *чита-*). Ср., например, наклонения подчинительного (т. е. конъюнктива) вида учащательного время настоящее: „Да абымъ часто *чѣтоваль*; Мимошедшее: Да быхъ: а быхъ бымъ часто *читоваль*“. Форма на *ова-* (а не на *-ыва-*) объясняется тем, что украинскому языку этого времени (т. е. XVII в.) были свойственны, как уже сказано выше, именно такие образования, образования же на *-ыва-* из

употребления выходили. Впрочем, формы эти вводятся лишь для объяснения соответствующих церковнославянских.

Система залогов, установленная Смотрицким, подобно многим другим разграничиваемым им категориям, еще не учитывает в целом структурных особенностей, свойственных славянскому глаголу, но некоторые черты последнего и здесь подмечены достаточно тонко. Смотрицкий различает пять залогов: действительный, страдательный, средний, отложительный и общий. К страдательному залогу он относит глаголы, характеризующиеся частицей *ся*; в качестве примера приведены *бѣюса*, *творюса*. Одним из значений возвратной частицы, действительно, и в современном языке является страдательное. Впрочем, в данном случае Смотрицкий не оригинален: к страдательному залогу относили возвратные формы и предшествующие ему грамматисты. Существенно обратить внимание на залогов отложительный и общий. К общему залогу он относит глаголы, характеризующиеся окончанием страдательного (т. е. наличием возвратной частицы), но значение которых соответствует как страдательному, так и действительному залогу, например, *касаюса*. К отложительному же залогу он относит глаголы, не употребляющиеся без возвратной частицы и в то же время не имеющие страдательного значения, например, *боюса*, *трьждаюса*. Термин *отложительный* в применении к таким глаголам восходит к латинской грамматике, где, как известно, *verba deponentia* (отложительные глаголы) называются такие глаголы, которые характеризуются исключительно страдательными формами, но не имеют страдательного значения (например, *origo, ortus sum, oriri*). Формы латинского пассива, лишь впоследствии получили собственно страдательное значение, первоначально же обозначали просто непереходность. Глаголы, относящиеся в латинской грамматике к отложительным, и характеризовались непереходным значением. Непереходными же являются и славянские глаголы *богатиса*, *троуждатиса*, уже в древнейших памятниках, в то время, когда *са* играло еще роль не морфемы, а отдельного, хотя и служебного слова, без *са* не употреблявшиеся. Непереходным и неупотребляющимся без частицы *ся* является глагол *бояться* и в современном

русском языке (глагол *трудаться* в современном русском языке не употребляется, но глагол *трудиться* < *трудити* сА, производным от которого является *трудати* сА, также сейчас употребляется как глагол непереходный и не функционирующий без частицы *ся*, без которой могут выступать лишь производные приставочные глаголы, к тому же переходные, например, *натрудить*).

Понимает Смотрицкий и разграничение глаголов переходных и непереходных: личный глагол у него делится на *переходительный* (люблю, творю) и *самостоятельный* (стою, свѣжѹ, сплю).

Смотрицкий ввел в свою грамматику новую категорию, которой не было в старославянском языке, но которая характерна для современного русского, а также и для других восточнославянских языков — *деепричастие*. Впрочем, он понимает под деепричастием не совсем то, что мы: он использовал для него форму причастия, уже лишенную изменения по падежам, но сохранившую еще изменение по родам и числам (как известно, наши краткие действительные причастия, легшие в основу деепричастий, очень рано утратил изменение по падежам, изменение же по родам и числам сохраняли дольше). Определяет он деепричастие следующим образом: „Дѣепричастіа суть причастіа чрез усечение или изъятие сокращения и знаменованием от причастій (от них же составляются) потолику различествующая, поелику прилагательное усеченое от цѣлаго различествовати обыче. Прочіих падежей во всех родах и числах, кроме именительна, лишается“.

Грамматика Смотрицкого посвящена церковнославянскому языку, но не древнецерковнославянскому (т. е. не старославянскому), а позднему церковному языку, в основе своей старославянскому, но подвергнутому определенному воздействию со стороны живого языка той страны, где он использовался. В данном случае перед нами та форма церковнославянского языка, какая принята была на Украине и в Белоруссии, т. е. церковнославянского языка, подвергнутого известному воздействию со стороны украинского и белорусского языков (в силу наличия в этих языках многих общих черт мы не всегда можем различить следы воздействия того или другого). Вследствие же того, что и Украина и Белоруссия в эту эпоху входили в состав Польши, там сильно

сказывалось (и в письменности и в быту) и воздействие польского языка. Впрочем, польские формы Смотрицкий вводит лишь для объяснения соответствующих церковнославянских. Ср., например, формы подчинительного наклонения: „Да: абымъ читалъ... Да быхъ: абымъ былъ читалъ... Да: абымъ часто читовалъ... Да быхъ: абыхъ бымъ часто читовалъ“.

Живой язык его времени, украинский, а не церковнославянский, с большой примесью польского, ярко отражается в предисловии Смотрицкого к его грамматике. Ср., например: „За таковымъ вашимъ пильнымъ старанемъ въ рихлѣ, въ надѣи помочи божией, обещаю славному въ народѣ нашемъ языкови поднесеніе, вырозумене его, уживане и пожитокъ: который занедбалый, а церкви нашей природный будучи, по не малу народъ нашъ въ набоженство зазябилъ. На одномъ теды только семъ, якомъ реклѣ, залежати будетъ, абы дозорови, опецѣ и промыслови вашему повѣренны дѣтки и младенцы лѣтъ своихъ и часу, обоего сего назадъ вернуться не умѣючаго, за обое тое вамъ слово въ день страшного суда Христова отдати повинны будучимъ, надаремне не тратили. Дѣткамъ учиться починающимъ Букварь, звыкле рекши, Алфавитарь, зъ тоижъ грамматики вычерпненный, абы склоненіямъ грамматичнымъ зъ лѣтъ детинныхъ зъ мовою заразъ привыкли, до выученя подаванъ нехай будетъ“.

Из этого предисловия видно, что Смотрицкий имел достаточное представление о том, что церковнославянский язык является особым, отличным от белорусского и украинского, языком, которому надлежит специально обучаться. О том, что Смотрицкий имел представление о различии церковнославянского и живого языка свидетельствуют и его параллельные переводы с греческого, о которых уже говорилось выше.

Грамматика Смотрицкого сыграла огромную роль в последующем развитии грамматической науки. Достаточно хотя бы указать на то, что некоторые грамматические термины, принятые у нас в настоящее время, впервые введены были именно Смотрицким.

Грамматика его, как уже говорилось, была переиздана в 1648 г. в Москве, но без имени автора и с некоторыми видоизменениями. К ней были добавлены предисловие и послесловие, состоящие частью (послело-

вие целиком) из сочинений Максима Грека, вследствие чего грамматика эта долгое время считалась принадлежащей ему. В самой же грамматике были приведены некоторые изменения, сблизившие формы ее с формами живого русского языка того времени. Возможно, что эти формы были свойственны и той руссифицированной форме церковнославянского языка, которая являлась нормой тогдашней нашей книжной речи.

Ср., например:

Издание 1619 г.		Издание 1648 г.
Им. ед.	<i>самараныни</i>	— <i>самаранына</i>
Род. „	<i>самаранына</i>	— <i>самараныни</i>
Дат. „	<i>самараныни</i>	— <i>самаранынѣ</i>
Им. множ.	<i>самаранына</i>	— <i>самараныни</i>
Род. ед.	<i>пѣныци</i>	— <i>пѣныци</i>
Дат. „	<i>пѣныци</i>	— <i>пѣныцѣ</i>
Сказат. „	<i>пѣныци</i>	— <i>пѣныцѣ</i>
Им. множ.	<i>пѣныца</i>	— <i>пѣныци</i>
Дат. и сказат. }	ед. <i>сносѣ</i>	— <i>снохѣ</i>
Им. и зват. }	„ <i>мрежа</i>	— <i>мрежи</i>
Вин. „	<i>мрежа</i>	— <i>мрежи</i>
Им. „	<i>лодіа</i>	— <i>лодіа</i>
Род. „	<i>лодіа</i>	— <i>лодіи</i>
Им. и зват. }	мн. <i>лодіа</i>	— <i>лодіи</i>
Род. „	<i>лодіи</i>	— <i>лодѣи и лодій</i>

Эти изменения, внесенные московским издателем, интересны в нескольких отношениях.

Устранены старые формы мягкой разновидности склонения и введены новые формы, сложившиеся в живом языке под воздействием твердой разновидности. Специально устранена древняя форма им. п. ед. ч. основы на *-ja* (*-i < *-jə*) и заменена формой с окончанием *-а* после мягкого согласного. Следует заметить при этом, что Смотрицкий в случае различия форм старославянских и древнерусских следует именно старославянскому образцу.

Устранено чередование заднебного согласного со свистящим, возникшее в результате второй палатализации. Форма со свистящим согласным, характерная для старославянского языка, а также для древнерусского языка древнейшей эпохи, сохранилась в украинском и белорусском языках. Следовательно, для Смотрицкого она продолжала быть живой формой. В русском языке (даже еще собственно в тех древнерусских наречиях, которые ложатся в основу современного русского языка) это чередование очень рано начинает устраняться. Форма род. п. мн. ч. существительного, оканчивавшегося в древности на *-ija*, у Смотрицкого оканчивается на *-ий*. Такая форма свойственна не только церковнославянскому, но и живым украинскому и белорусскому языкам, эта форма была живой для Смотрицкого. В русском языке вследствие изменения сильного редуцированного *ĭ* в *e* развилась форма, оканчивающаяся на *-ей*, которая и дана московским издателем, правда, параллельно с книжной формой на *-ий*. В соответствии с начальным старославянским *la-* (< **olt-*) грамматики Смотрицкого московский издатель дает русское *ло-*. Правда, по акающим нормам московского произношения, в XVII в. несомненно, уже утвердившимся, в слове *лодьа* должно бы уже произноситься *a*, но *o* здесь, возможно, поддержано формой им. п. мн. ч. с ударением на основе, каковая здесь, кстати сказать, и дается. Наблюдаются некоторые различия в ударении. При этом ударения, поставленные московским издателем, в большей степени соответствуют нормам русского языка. Устранены некоторые формы, отражающие так называемое второе южнославянское влияние. Так, в соответствии с *lādĭa* Смотрицкого московский издатель дает *лодїа*, где *А*, конечно, читается (после гласной) как *ja*.

Несмотря на сближение с живым языком, имеются в московском издании и некоторые разграничения, носящие искусственный характер. Так, им. и зв. п. мн. ч. от существительного *мрежа* имеет форму *мрежи*, а вин. *мрежы*. Обе эти формы представляют результат сближения мягкой разновидности с твердой (у Смотрицкого в обоих случаях *мрежа*, по нормам старославянского языка). Но искусственно введено разграничение окончаний *и* и *ы*, некогда существовавшее для муж. р. Впрочем, возможно, что здесь просто опечатка — в одном случае

сохранено традиционное написание *и* после шипящего, а в другом случае употреблено написание, отражающее живое произношение с твердым *ш* и изменением после него *и* в *ы*.

В азбуковниках XVII в. встречаются обширные выписки из грамматики Смотрицкого, что свидетельствует о большой популярности ее у наших книжников.

Высоко ставил Смотрицкого и Юрий Крижанич, вообще во многом с ним расходившийся и считавший, что Смотрицкий строит свою церковнославянскую грамматику по образцу греческого и латинского языков. Юрий Крижанич, серб родом, жил в Москве в царствование Алексея Михайловича, т. е. во второй половине XVII в. Он много путешествовал, знал различные славянские языки и считал, что они связаны единством происхождения (следует, впрочем, заметить, что идея языкового единства славян отчетливо выступает еще у автора Повести временных лет). Основной задачей своей он считал обработку славянского языка и создание хорошей грамматики и лексикона, с помощью которых мы могли бы правильно писать и говорить, т. е. его работа над языком была вызвана определенными практическими потребностями. Граматику свою (под названием „Грамматично наказанје“) он написал в ссылке в Тобольске в 1666 г. Смотрицкому он дает следующую оценку: „Мелетий Смотрицкиъ дльа-ради својею трудольубја и дльа печалности, којијест носил про общену ползу, пишуц Граматику, достојен јест памети и вночије хвали; и бил бы доспил вещи народу пособније, даб и се не собланил по обзору на Греческије преводи, и даби захотил нашего језика на Греческије и на латинскије узори претварјат“.

Крижанич считает, что различные ветви славянских племен, разойдясь по местам теперешних их поселений и подпав под власть других народов, исказили свой язык, потеряли некоторые треть, а некоторые половину своих старых слов. Исказился и старый церковный славянский язык. Такое искажение языка происходит, по его мнению, везде, где нет своих книжных писателей и нет народного устройства и законодательства на своем языке. В меньшей степени исказился, по его мнению, русский язык. Причину этому он видит в том, что на Руси су-

ществует государственная письменность и законодательство осуществляется на своем языке. В силу этого и древний славянский язык Крижанич называет русским. Впрочем, в другом месте он указывает на сохранение чистоты старой славянской речи в наибольшей степени в небольшом уголке земли — в трудно проходимых горах Хорватии, где он провел детство. Церковнославянский язык, т. е. язык церковных книг, подвергся сильному искажению, по мнению Крижанича, под влиянием греческого языка. И особенно считает он испорченным тот книжный язык, который принят был в юго-западной и западной Руси, т. е. на Украине и в Белоруссии.

Неудовлетворительность, по его мнению, грамматики Смотрицкого и побудила Крижанича приняться за составление новой грамматики славянского языка.

В грамматике Крижанича есть много интересных мыслей.

Интересна устанавливаемая им система письма. В основе ее лежит кириллица, но использованы не все буквы последней, некоторые он считает лишними. Так, он исключает *i*, *ω*, *ϑ*, *ѣ*, йотованные буквы, зато вводит из латинского алфавита *j*. Интересны указания на некоторые звуковые соответствия различных языков. Так, например, он указывает на то, что в русском языке буква *А* пишется там, где сербы и хорваты произносят *e*, а буква *га* там, где и русские, и сербы, и хорваты произносят одинаково *ja*.

Интересны некоторые исторические соображения Крижанича. Так, он указал, что славянские полные прилагательные образовались из кратких. До него наши грамматисты думали, что, напротив, краткие прилагательные возникли в результате усечения полных. Но наряду с этим встречаются и несостоятельные соображения. Так, он считает, что двойственное число в церковнославянском языке исконно не принадлежало славянской речи.

Интересны соображения относительно ударения, в которых отражается знакомая Крижаничу сербская система музыкального (политонического) ударения.

Но до конца в строе различных славянских языков Крижанич не разобрался. Формы различных языков в его грамматике смешиваются, в основе же лежит его родной

сербский язык. Сербский язык отражается и в его весьма своеобразной грамматической терминологии¹².

На последующую грамматическую литературу большое влияние оказала в первую очередь, как уже было сказано, грамматика Смотрицкого.

Известное воздействие оказала она и на первую грамматику русского языка, написанную саксонцем Вильгельмом Лудольфом (*Grammatica Russica*, Оксфорд, 1696). В склонениях и спряжениях Лудольф, по собственному признанию, следует славянской грамматике Смотрицкого, к которой он и отсылает читателей.

Грамматика Смотрицкого, как уже было сказано, оказала определенное воздействие на развитие грамматической науки и в других славянских странах, именно в южнославянских. Так, в основе грамматики Христати-Дупничанина, написанной в начале XIX в. и имевшей целью сблизить народный болгарский язык с церковнославянским, лежит грамматика Смотрицкого. Еще раньше, в 1755 г., карловицким митрополитом Павлом Ненадовичем в Рымнике, в Валахии, грамматика Смотрицкого была перепечатана для обучения сербских юношей. По грамматике Смотрицкого было составлено в 1793 г. сербское же „Рѣководство къ славѣнстѣи грамматицѣ“ Стефана Вуяновского и в 1794 г. «Рѣководство к славенстѣи грамматицѣ» Авраама Мразовича». Наконец, грамматика Смотрицкого послужила образцом и для славянской грамматики Добровского (1821 г.). На Далматинском побережье в середине XVIII в. архидиакон острова Оссеро Матвей Савич, помогавший архиепископу Зарскому Матвею Караману в исправлении церковных книг (глаголических), пользовался, по его собственным словам, редкой славянской грамматикой Мелетия Смотрицкого, находившейся в библиотеке архиепископа. Он же подготовил эту грамматику к печати с параллельным латинским текстом, но издание не было осуществлено. Савич настолько хорошо был

¹² Грамматика Крижанича „Граматично наказаније“ издана впервые Бодянским в „Чтениях Общества истории и древностей российских“, 1848 г., кн. 1; 1859 г., кн. 4. О Крижаниче см.: А. Маркевич. Юрий Крижанич и его литературная деятельность. Варшава, 1876; Гольдберг. Сочинения Крижанича и русская действительность XVII века. М., 1950.

знаком с церковнославянским языком, что папа Бенедикт XIV назначил его профессором по кафедре славянского языка в Коллегии De propaganda fide.

IV

Старинная грамматическая литература, относящаяся ко времени формирования великорусской народности, а также других восточнославянских народностей, имела своим объектом, в первую очередь, церковнославянский язык. Лишь сквозь призму его строя просачиваются, как мы видели, в сочинениях наших первых грамматистов некоторые факты, характеризующие живой русский и другие живые восточнославянские языки. Формирование национальных связей, начиная со второй половины XVII в., в результате образования всероссийского рынка, и переход к национальному языку требуют закрепления этого языка в литературе. Стихийно же идущее вначале формирование нового русского литературного языка на национальной основе ставит в порядок дня проблему нормализации этого языка, проблему выработки и формулировки его норм. Работа эта развертывается в основном, начиная с середины 30-х годов XVIII в. Выдающиеся русские ученые и писатели этого времени не только дают блестящие образцы нашего нового литературного языка, но и теоретически осознают и формулируют его нормы.

Из работ, посвященных собственно русскому языку и вышедших раньше этого времени, следует назвать лишь краткую грамматику В. Е. Адодурова, напечатанную под заглавием „Anfangsgründe der Russischen Sprache“ при академическом издании русской переработки немецко-латинского словаря Вейсмана (Teutsch-Lateinisch-und Russisches Lexicon. Zu allgemeinen Nutzen bey der Kayserl. Academie der Wissenschaften zum Druck befördert. Нѣмецко-латинскій и Рускій Леѣсиконъ купно с первыми началами Рускаго языка къ общей пользѣ при Императ. Академии Наукъ печатью изданъ, 1731). Вышедшее в 1706 году в Голландии „Руководеніе въ грамматику во Славяно-Россійскую или Московскую ко употребленію учащихъ языка Московскаго“ Копиевича представляет собой весьма краткое извлечение из грамматики Смотрицкого, а в конце приложены „Изображенія разговоровъ

к удобнѣйшему познанію языковъ (латинскаго, нѣмецкаго и русскаго)¹³. Да и грамматика Адодурова представляет собой лишь краткую обработку в переводе на русский язык церковнославянской грамматики Смотрицкаго. Впрочем, в первой главѣ, посвященной буквам (Von den Buchstaben, derselben Pronunciation, und was sonst noch dabei vorkommt), имеются интересные, хотя и краткие замечанія по поводу русскаго произношенія.

В 1735 г. при Академии наук открылось Российское собраніе, имевшее целью „радеть о возможном дополненіи русскаго языка, о его чистотѣ, красотѣ и желаемом потом совершенствѣ“. Собраіе открылось речью В. К. Тредиаковскаго „О чистотѣ русскаго слова“. В этой рѣчи Тредиаковскій в числѣ основныхъ задачъ, стоящихъ передъ собраніемъ, поставилъ „составленіе грамматики доброй и исправной и дикціонарія полнаго и довольнаго“.

Этихъ задачъ выполнить самому Тредиаковскоту не пришлось, но онъ много трудился надъ различными вопросами, связанными съ русскимъ литературнымъ языкомъ и его нормами. Большое значеніе для теории литературы имела его книга „Новый и краткій способъ къ сложенію русскіихъ стиховъ съ опредѣленіями до сего надлежащихъ знаній“, вышедшая в 1735 г. Не останавливаясь на ея чисто литературовѣдческой сторонѣ, отметимъ одинъ моментъ, имеющій существенное значеніе для языка. Именно тамъ онъ впервые опредѣлилъ характеръ русскаго ударенія какъ динамическій и указалъ на несвойственность нашему языку долготныхъ различій гласныхъ, характерныхъ для классическихъ языковъ: „... черезъ долгій слогъ въ русскаго стихотворствѣ разумеется тотъ, на которой просодія, или, какъ говорятъ, сила ударяетъ, — пишетъ онъ. — И тако въ реченіи семъ: *слагаю, га* есть долгій слогъ, а *сла* и *ю* короткіе“. И далее: „Того ради черезъ сие всякъ ясно выразуметь можетъ, что долготы и краткости слоговъ, въ новомъ семъ русскаго стихосложеніи не такая разумеется, какова у Грековъ и у Латинъ въ сложеніи стиховъ употребляется; но токмо тоническая, то есть, въ единомъ удареніи голоса состоящая,

¹³ См. Пекарскій, СПб, 1862. Наука и литература в Россіи при Петре Великомъ, т. 1, стр. 19.

так что, сколь греческое и латинское количество слогов с великим трудом познавается, столь сие наше всякому из Великороссиан легко, способно, без всякия трудности, и на конец, от единого только общего употребления знать можно...“.

Старые наши грамматисты не разобрались в вопросах славянского и русского ударения, и если давали просодию, т. е. раздел, посвященный ударению (в применении к версификации), то излагали ее по нормам греческого языка, принимая к тому же (под влиянием греческой традиции) такие различия, которые не существовали и для греческого языка византийской эпохи, а сохранялись лишь в силу античной традиции. Так поступил и Смотрицкий, в чем решительно возражает ему Третьяковский в своем позднейшем сочинении „О древнем, среднем и новом стихотворстве российском“, относящемся к 1755 г. „Весьма вероятно, — пишет Третьяковский, — что ежели б Смотрицкий пренебрег долготу и краткость слогов временем меряющуюся, как всеконечно несвойственную славенскому языку, а ввел бы тоническое складов количество, какое ныне у нас в стихах; то б способнее наши стихотворцы, духовныи и мирские, взялись за сей способ сложения, как совершенно легкий, к нам природный, а к тому ж плавный, приятный, и слаткий хотя и без отроческих оных игрушек, то есть рифм“.

Занимался Третьяковский и вопросом выработки орфографических норм нового русского литературного языка. От предшествующей эпохи этим языком была унаследована определенная орфографическая традиция, но строго зафиксированных норм не было. В 1748 г. был напечатан написанный Третьяковским „Разговоръ между Чужестраннымъ челоуѣкомъ і Россійскимъ об ортографіи старіной і новой“. В этом сочинении Третьяковский склоняется в сторону фонетического принципа в орфографии. Он пишет: „Буквы, г. м., знаки звонов, или их способов: мы произносим, например, *т* в слове *упатка* от *упадок*, в котором характеристическая есть *д*; то *т* и надобно писать, а не *д*...“ Звонами Третьяковский называет здесь звуки.

Указанные соображения Третьяковского свидетельствуют о его большой наблюдательности и понимании фонетических отношений, существующих в русском языке.

Но предложенная им реформа орфографии не могла иметь успеха.

Правописание согласно произношению в особенности представляло неудобство в те времена, когда орфоэпические нормы русского литературного языка еще только складывались. Несомненно более жизненными явились те основные принципы орфографии, которые несколько позднее были сформулированы М. В. Ломоносовым в его „Российской грамматике“.

Третьяковский неоднократно высказывался и по другим языковым вопросам, орфоэпическим и грамматическим, но он не создал полной системы грамматики. Первая полная и в то же время оригинальная, не являющаяся слепком с церковнославянской, грамматика русского литературного языка была осуществлена М. В. Ломоносовым.

V

Глубокий ученый, работавший в самых разных научных областях и сделавший замечательные открытия, намного опередившие современную ему зарубежную науку, Ломоносов по праву должен быть признан и первым нашим лингвистом. В области сравнительного изучения языков ему несколько предшествовал наш первый историк В. Н. Татищев¹⁴, но последний никогда не доходил до той степени точности в определении языковых взаимоотношений и до той широты обобщений, которые были характерны для Ломоносова.

„Российская грамматика“ Ломоносова, над которой он работал в конце 40-х и в начале 50-х гг. XVIII в., вышла первым изданием в 1755 г. В ней автор дал систематическое изложение норм современного ему русского литературного языка, одним из виднейших создателей которого он сам являлся — ведь Ломоносов не только формулировал нормы, но, как известно, дал и блестящие поэтические образцы нового русского литературного языка, формирующегося на живой общенародной основе.

В работе над грамматикой Ломоносов далек был от априоризма и догматизма. Формулированные им нормы

¹⁴ О Татищеве как лингвисте см. И. С. Вдовин. История изучения палеоазиатских языков. М—Л., 1954, стр. 17—39.

были не привнесены извне, а выведены из самого языка, из тех тенденций, которые заложены были в его развитии. Для того, чтобы определить какое-либо грамматическое правило, Ломоносов собирает обширный материал и лишь на его основании делает обобщение. Основные же тенденции развития нашего нового литературного языка Ломоносов определил наиболее верно в сравнении с другими теоретиками и нормализаторами того времени (Третьяковым, Сумароковым).

Ломоносов был не только практиком, но и теоретиком. Как у подлинного ученого, теория и практика у него неразрывно связаны. Высказываемые им соображения практического характера всегда опираются на определенные теоретические обоснования, и, с другой стороны, разрабатывая теоретические положения, он всегда стремится сделать из них практические выводы. Создавая свою грамматику, он проделал огромную работу, так или иначе дополняющую собранный им грамматический материал, высказав при этом ряд весьма важных и интересных теоретических соображений. Лишь сравнительно немногое из того, что он сделал в связи с работой над „Грамматикой“, вошло в самый текст последней, многое сохранилось лишь в черновых набросках, многое же (как мы можем судить на основании некоторых косвенных источников) вообще утрачено.

Следует заметить, что значение Ломоносова, как лингвиста-теоретика, а не только автора первой нашей грамматики, до последнего времени мало освещалось в нашей литературе, а в некоторых работах недавнего времени, вообще касавшихся этой стороны его деятельности, значение его в этой области даже принижалось; к положениям, высказывавшимся им, старательно подыскивались западные источники, хотя оригинальность Ломоносова и независимость его от зарубежной науки в соответствующих случаях очевидны¹⁵.

¹⁵ Из работ, посвященных лингвистической деятельности М. В. Ломоносова, см.: А. Будилович. М. В. Ломоносов как натуралист и филолог. СПб, 1869; из новых работ см.: П. С. Кузнецов. М. В. Ломоносов и русская диалектология. — „Бюллетень Диалектол. сектора Ин-та русского языка АН СССР“, вып. 5, 1949; его же. О трудах М. В. Ломоносова в области исторического и сравнительного языкознания. — „Ученые записки Моск. ун-та“,

Круг интересов Ломоносова в области языка был весьма обширен. Он включает русский язык во всем своем многообразии, т. е. не только литературный язык, но и местные говоры, притом не только в современном Ломоносову, но и в прошлом их состоянии, другие славянские языки, другие языки индоевропейской семьи, языки иных семей, наконец, общие проблемы развития языка.

В черновых заметках, при жизни его не опубликованных, а затем в „Российской грамматике“ (§ 112) Ломоносов высказывает замечательное для своего времени соображение об основных диалектных подразделениях русского языка. Эти три основные подразделения, которые он называет „главными Российскими диалектами“, — московский, поморский и украинский (в черновой заметке в рукописи № 112 он называет его малороссийским, но в „Грамматике“ — „украинским“) — указывают на то, что он, по-видимому, знал о существовании известных различий и внутри этих диалектов, иначе ему незачем было бы называть их „главными“. Под „поморским“ диалектом Ломоносов понимал, вероятно, не только поморские говоры в современном смысле (хотя практически он знаком был именно с ними), но северновеликорусское наречие в целом. „Московский диалект“ также, вероятно, охватывал не только собственно московский говор, но вообще акающие говоры, если он только имел представление о говорах к югу от Москвы. О том, что он отчетливо осознавал такую особенность Московского говора, как аканье, свидетельствует ряд его высказываний, в том числе и в „Российской грамматике“. Ср. также:

Великая Москва в языке толь нежна,
Что а произносить за о велит она . . .

Ломоносов понимал также, что третий установленный им диалект, украинский, противостоит обоим остальным, отличаясь от них больше, чем эти два различаются между собой. Но он не мог еще иметь представления о том, что это особый, самостоятельный язык. Как мы видели

вып. 150; его же. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 7 (лингвистический обзор). — „Вопросы языкознания“, 1953 г., № 6; Т. А. Шаповалова. Языковедческие воззрения М. В. Ломоносова. — „Ученые записки Борисоглебского Гос. пед. ин-та“, вып. 1, Борисоглебск, 1956.

выше, еще в XVII в. название „русский“ применялось не только к русскому языку в современном смысле слова, но также и к другим восточнославянским языкам, т. е. к украинскому и белорусскому. Оформление же украинского литературного языка на живой народной основе в XVIII в. только еще начиналось, да и то это имело место уже после времени Ломоносова.

Серьезное знакомство Ломоносова с русскими памятниками различных эпох позволило ему сделать совершенно правильное наблюдение относительно устойчивости нашего языка, о сравнительно малом изменении, которому он подвергся на протяжении своего исторического развития. В своем сочинении „О пользе книг церковных в Российском языке“ Ломоносов писал: „По времени же рассуждая, мы видим, что Российский язык от владения Владимирова до нынешнего веку, больше семи сот лет, не столько отменился, чтобы старого разуместь не можно было: не так как многие не учась не разумеют языка, которым предки их за четыреста лет писали, ради великой его перемены случившейся через то время“. Это наблюдение показывает, что Ломоносов был знаком не только с историей русского языка, но и с историей некоторых других языков (есть основания думать, что лучше всего он был знаком с историей немецкого языка). Если мы сравним древнейшие дошедшие до нас памятники и современное состояние основных западноевропейских языков, принадлежащих к романской и германской группам (и немецкого в том числе), мы увидим, что эти языки на протяжении от древнейших памятников до наших дней изменились значительно больше, чем русский.

Ломоносов первый четко разграничил русский и старославянский языки (о том, что эти языки различаются, знал и Третьяковский, но такого ясного представления об их различии, как Ломоносов, он еще не имел) и притом не только для своего времени, но и для эпохи древнейших дошедших до нас памятников. На то, что он понимал различие, существующее между старославянским и древнерусским языком, указывают как „Мнение“, представленное по поводу сочинения Шлецера¹⁶, так и

¹⁶ См. П. С. Билярский. Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865, стр. 704.

„Примечания на предложение о множественном числе прилагательных“ (эти „Примечания“ были написаны Ломоносовым в связи с той полемикой, которую он вел с Тредиаковским по поводу орфографической нормы написания окончаний множественного числа прилагательных). „Речи в Российских летописях находящиеся, — пишет Ломоносов в „Мнении“ по поводу сочинения Шлецера, — разнятся от древнего Моравского языка, на который переведено прежде священное писание. Ибо тогда Российский диалект был другой, как видно из древних речений в Несторе, каковы находятся в договорах первых Российских князей с царями Греческими. Тому же подобны законы Ярославовы, Правда Русская называемые; также прочия историческая книги, в которых употребительные речи в библии и в других церковных книгах по большей части не находятся и т. д.“. Это рассуждение показывает, что Ломоносов прекрасно понимал, в каких именно древнерусских памятниках в большей степени отражается живой древнерусский язык, менее затронутый книжным влиянием. Как видно из приведенного высказывания, Ломоносов следовал ныне оставленной Моравской теории возникновения старославянского письменного языка. Эта теория опирается на традицию, восходящую еще к житиям Кирилла и Мефодия, но ее придерживались некоторые исследователи даже в XIX в., в эпоху же Ломоносова данных для установления действительной диалектной принадлежности старославянского языка было еще слишком недостаточно.

Памятники, отражающие язык в большей степени близкий к живому, Ломоносов выделяет и для позднейшего времени. Так, в „Примечаниях на предложение о множественном числе прилагательных“, он, говоря о большей употребительности окончания *-е* сравнительно с окончанием *-я*, ссылается на „печатные и рукописные книги от Великороссиян сочинения, каковы суть уложение, указы, книги и другия печатные и письменные права и указы“. Здесь речь идет об Уложении Алексея Михайловича 1649 г., в основном отражающем живой русский язык, и о различных московских памятниках делового письма.

Ломоносов знаком был не только со старославянским языком, но имел ясное представление и о славянской языковой группе в целом. Он знал, какие языки входят

в эту группу, какие территории занимают они теперь и какие занимали в прошлом. В одной из своих заметок он дает перечисление славянских языков, почти полностью соответствующее современным данным: „Языки от славенского произошли: 1) Российской, 2) Польской, 3) Болгарской, 4) Сербской, 5) Чешской, 6) Словацкой, 7) Вендской“. Под вендским языком Ломоносов понимает лужицкий. На то, что эти языки в эпоху возникновения Русского государства занимали частью иную территорию, чем теперь, указывает Ломоносов в своих „Возражениях“ на диссертацию Миллера: „... Язык славенский во времена Руриковы, а по свидетельству Российских летописей и много прежде оного, простирался в длину с востока от реки Дона и Оки на запад до Иллирика и до реки Албы, а шириною с полудни от Черного моря и от реки Дуная до южных берегов Варяжского моря, до реки Двины и до Бела-озера; ибо им говорили Чехи, Ляхи, Моравы, Поморцы или Померанцы, Славяне по Дунаю, Сербы и Славенские болгары, Поляне, Бужане, Кривичи, Древляне, Новгородские славяне, Белоозерцы, Суждальцы и проч.“. Наиболее подробно перечислены здесь восточнославянские племена, хотя, как видно, Ломоносов имел ясное представление и о южнославянских и западнославянских.

Имел Ломоносов представление и о различии взаимоотношений, существующих между разными славянскими языками. Неоднократно указывает он на бóльшую близость русского языка к болгарскому, чем к польскому. Так, в сочинении „О России прежде Рурика“, посвященном проблеме происхождения русской народности, он говорит, что „Новгородцы одержали не одно токмо имя свое славенское, но и язык сродных себе славян около Дуная и в Иллирике обитающих, которой много сходнее с Великороссийским, нежели с Польским, невзирая на то, что поляки живут с ними ближе, нежели мы, в соседстве“. И также в сочинении „О пользе книг церковных в Российском языке“ он говорит о задунайских славянах, т. е. южных, прежде всего, болгарях, что они „говорят языком, Россиянам довольно вразумительным, который весьма много с нашим наречием сходнее, нежели Польский, невзирая на безразрывную нашу с Польшею пограничность“. На бóльшую близость русского языка к

южнославянским, особенно если речь идет о некоторых древних фонетических различиях, указывали и многие позднейшие исследователи.

Не ограничиваясь славянскими языками, Ломоносов уделяет внимание и наиболее близким к ним балтийским языкам, причем указывает на родство их со славянскими. В сочинении „О России прежде Рурика“ он рассматривает различные балтийские народности как происходящие от славянского племени: „... к южным берегам Варяжского моря склоняющиеся области, то есть, Курландцов, Жмудь, Литву, остатки старых Пруссов и Мекленбургских Вендов, которые все Славенского племени, хотя много отмен в языках имеют...“. Под „Курландцами“ он понимает латышей, а под „Жмудью“ — говорящих на жемайтском наречии литовского языка, поляки и белорусы и теперь их называют жмудинами. Интересно, что говоря о связях славянских языков с балтийскими, Ломоносов считает необходимым обращать внимание не только на слова, но и на грамматические формы. Так, в сочинении „О России прежде Рурика“, рассматривая родственные связи древнего прусского языка со славянскими, он говорит: „Явные свидетельства о сходстве древнего Прусского языка (со славянским) найдет, кто кроме идолов имена жрецов, волхвов, и слова, что в обрядах употребляются, рассмотрит и грамматическое их произведение“. И еще яснее в „Возражениях“ на диссертацию Миллера, где он говорит о Байере¹⁷, который „впал в превеликия и смешныя погрешности, например, пишет он противно мнениям других авторов и утверждает, что Пруссы не были колена Славенского, а были одного происхождения с Курляндцами не зная того, что Курляндской язык есть происхождения Славенского, так что не токмо большая часть речей, но и склонения и спряжения весьма мало разнятся...“. Такие соображения о грамматической близости родственных языков для XVIII в., когда преимущественно сравнивали слова различных языков и то обычно бессистемно и беспорядочно, весьма замечательны и свидетельствуют о лингвистической проницательности Ломоносова.

¹⁷ Имеется в виду сочинение Т. Э. Байера „De Varagis“. („Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae“, 1735, IV).

Следует заметить, что хотя некоторые зарубежные ученые и до Ломоносова высказывали соображения о связи славян и балтийцев, вопрос о взаимоотношении славянских и балтийских языков в его эпоху еще не был решен. Незадолго до Ломоносова, в самом конце XVII в., такой глубокий и проницательный ученый и мыслитель, как Лейбниц, много занимавшийся и вопросами языка, колебался, куда отнести языки Литвы, Пруссии и Ливонии¹⁸.

Лингвистические интересы Ломоносова выходят далеко за пределы славянских и ближайших к ним балтийских языков. В рапорте Ломоносова о его трудах и упражнениях с 1751 по 1756 г. между прочим стоит: „В 1755 году... сочинил письмо о сходстве и переменах языков“. Поскольку Ломоносов пишет *сочинил*, речь идет, по-видимому, о законченном сочинении, посвященном общим проблемам языкознания. Это „Письмо“ до нас, к сожалению, не дошло, сохранились лишь черновые наброски к этому исследованию, но и они для своего времени замечательны.

Поскольку при изложении тех или иных грамматических особенностей русского языка Ломоносову важно было уяснить соответствующие явления с общелингвистической точки зрения, постольку параллельно с работой над грамматикой он разрабатывал и общелингвистические проблемы. Любопытно, что указанное „Письмо“ было написано (а следовательно, закончена и всякая подготовительная работа к нему) именно в 1755 г., т. е. в год выхода в свет „Российской грамматики.“

Каково было содержание „Письма“ в целом, сказать трудно, но некоторое представление о нем на основании черновых набросков составить все же можно. Из этих набросков видно, что Ломоносов стремится установить отношения между родственными языками за пределами славянских и балтийских.

В одной из черновых заметок он на основании сравнения числительных первого десятка разграничивает языки „сродственные“ и „несродственные“ (в последнем случае,

¹⁸ См. его черновое письмо Реймеру от 18. VII 1695 г. — „Сборник писем и мемориалов Лейбница, относящихся к России и Петру Великому“, изд. В. Герье, СПб., 1873, стр. 5.

по-видимому, имеются в виду не родственные между собой, а также с теми языками, которые он приводит под рубрикой „сродственные“). Тех и других языков приведено по четыре. При этом в качестве „сродственных“ языков выступают русский („Российский“), греческий, латинский и немецкий, в качестве „не сродственных“ — финский, мексиканский, готтентотский и китайский. Примеров числительных „не сродственных“ языков нет, по-видимому, они должны были быть вписаны впоследствии.

Замечательно прежде всего то, что в качестве „сродственных“ языков Ломоносов выделил как раз важнейшие индоевропейские языки. Отсутствует санскрит, которого он не знал. В качестве же примера „не сродственных“ семей взято по одному языку как представителю языков каждой из известных тогда четырех частей света (Европы, Америки, Африки и Азии). Действительно, как считает в основном и современная лингвистическая наука, эти языки не родственны ни с приведенными выше „сродственными“ языками, ни между собой (предполагаемое некоторыми исследователями последнего времени родство индоевропейских языков с угро-финскими, к которым относится и финский, основано на очень недостаточном материале и носит весьма проблематический характер).

На фоне беспорядочного сопоставления самых различных языков, как родственных, так и неродственных, характерного как для зарубежного, так и для русского языкознания XVIII в. (весьма произвольными сопоставлениями грешил и старший современник Ломоносова Тредиаковский), Ломоносова характеризует строгость в определении языкового родства. Вместе с тем он предвосхитил то, что стало достоянием зарубежной науки лишь в конце XVIII — начале XIX в., а именно он определил родство основных языков индоевропейского семейства, на материале которого и выработан был в первую очередь сравнительно-исторический метод (только без индийской части), установил семейство за несколько десятилетий до того, как родственные отношения внутри этого семейства были указаны Джонсом, и более, чем за полвека до того, как эти связи обосновал Бопп. Следует к тому же заметить, что ни Джонс, ни Бопп в первом издании

своей сравнительной грамматики не включали славянские языки в состав индоевропейской семьи.

В качестве же примеров языков „не сродственных“ Ломоносов взял такие, которые действительно не родственны приведенным выше индоевропейским языкам и не родственны между собой.

Не ограничиваясь установлением языкового родства, Ломоносов стремится выяснить, что собой представляет это языковое родство, как установились те отношения, которые связывают родственные языки. Он объясняет эти отношения в целом так же, как объясняло их последующее сравнительно-историческое языкознание, — как результат развития из единого в прошлом источника. В одной из своих черновых заметок, представляющей нечто вроде плана к недошедшему до нас „Письму о сходстве и переменах языков“, он пишет: „В конце письма заключить о перемене языков. Так-то не вдруг переменяются языки! Так-то не постоянно! Так-то пропали Еврейской, Аларбейской, Еллинской, Латинской и прочие! Польской и Российской язык, коль давно разделились! Подумай же, когда Курляндской!

Подумай же, когда Латинской, Греч., Нем., Росс. О, глубокая древность!... Представим долготу времени, которую сии языки разделились...“ Весьма существенно, что Ломоносов здесь обращает внимание и на последовательность разделения родственных языков, опять-таки значительно предвосхищая то, что было сделано впоследствии сравнительно-историческим языкознанием и предполагая сравнительно более позднее разделение славянских и балтийских языков (среди других индоевропейских) — *курляндской язык* он употребляет в значении „латышский“ — и еще более позднее разделение славянских языков. Под *аларбейским* языком Ломоносов понимает, по-видимому, исчезнувший алародийский (в Малой Азии).

Уже самый перечень „не сродственных“ языков говорит о том, что интересы Ломоносова не ограничивались индоевропейскими (употребляя современный термин) языками. И многие другие высказывания его подтверждают это.

В наибольшей степени он знаком был с угро-финскими языками, родственные отношения которых он представлял

себе достаточно ясно. Финский (суоми) язык он, как северянин, по-видимому, в какой-то мере знал и практически.

В весьма интересном сочинении „О России прежде Рурика“, исследуя доисторическое прошлое нашей страны, Ломоносов уделяет большое внимание роли угро-финских или „чудских“ элементов в образовании Русского государства, а вместе с тем и взаимоотношениям различных угро-финских языков. „Чудские поколения, — пишет он, — коль далече к северу простираются, заключить можно из множества разных народов отчасти Российской державе недавно покоренных, отчасти в оную в прежние веки совсем включенных. Ливония, Естляндия, Ингрия, Финния, Карелия, Лаппония, Пермия, Черемиса, Мордва, Вотяки говорят языками, немало сходными между собою, которые хотя и во многом разнятся, однако довольно показывают происхождение свое от одного начала. Сверх сего сильная земля Венгерская хотя от здешних Чудских областей отделена великими славенскими государствами, т. е. Россиею и Польшею, однако не должно сомневаться о единоплеменстве ея жителей с Чудью, рассудив одно только сходство их языка с Чудскими диалектами. Что подкрепляется еще их выходом из сторон, где и поныне Чудския поколения обитают, их остатки. Представив Чудской народ в нынешнем его рассеянном состоянии и по большей части у других держав в подданстве, помыслить можно, что в соединении бывал некогда силен на свете“. Таким образом, мы видим, что М. В. Ломоносов достаточно отчетливо представлял себе взаимоотношения угро-финских языков. Здесь указаны почти все языки этого семейства (кроме мансийского и хантыйского). Известна Ломоносову и принадлежность к этому семейству венгерского языка, несмотря на территориальную разобщенность говорящих на нем с другими угро-финскими народностями. Известно Ломоносову и более широкое распространение в прошлом угро-финских языков, частично вытесненных на протяжении их истории другими языками. Впрочем, Ломоносову было, по-видимому, известно вышедшее в 1731 г. сочинение Страленберга, в котором впервые устанавливается угро-финская семья языков.

Много замечаний, посвященных различным угро-финским языкам, отдельными словами в них, роли угро-фин-

ских („чуждских“) народов и племен в формировании Русского государства, рассеяно у Ломоносова и в других местах.

Многочисленные замечания, имеющиеся в его грамматике, свидетельствуют о том, что он имел представление о характере самых различных языков, а также о письме самых различных народов. Так, он указывает там не только на различие гласных по долготе в греческом, латинском и немецком языке (см. § 34), не только на наличие *p* „картавого“ (т. е. придыхательного) и *s* „шепелеватого“ в греческом языке (он имеет в виду, очевидно, межзубное произношение среднегреческого и новогреческого δ), не только на отсутствие *ч* и *ы* во французском языке, *ж* в немецком, но и на отсутствие *p* в китайском языке (см. § 22). Он указывает не только на наличие лишь мужского и женского, но не среднего рода в итальянском и французском языках и на различие рода лишь в местоимениях в английском языке, но и на полное отсутствие грамматического рода в турецком и персидском языках: „У Турков и Персов имена все одного общего рода“ (см. § 62). И весьма интересен общий вывод, который он делает на основании сопоставления различных языков с точки зрения категории рода: „Хотя разделение родов во многих языках употребительно; однако слову человеческому нет в том необходимой нужды“ (там же).

Имеет он представление и о консонантном характере семитского письма — это видно из того, что говорит он об абиссинском письме: „У Абиссинцов самогласныя все слитно изображаются с согласными“ (см. § 37), — и об иероглифическом характере древнеегипетского и китайского письма: „Хотя таковые сокращения в разных языках многи и различны; однако всегда за основание имеют неразделимыя части слова; и по сему далече отстоят от письма Иероглифическаго, каковое древние Египтяне употребляли, и ныне подобно видим у Китайцов. Ибо не взирая и не изследуя подробного разделения, которому человеческое слово подвержено, цѣлыя понятия вещей равными начертаниями изображают, и мысли свои почти живописью представляют“ (см. § 38).

Изучение различных языков, и в первую очередь русского, дало возможность Ломоносову подойти вплотную

к подлинно материалистическому пониманию отношений языка, мышления и действительности, к пониманию вместе с тем значения языка для развития человеческого общества. Поистине замечательны те общие соображения о языке, которые высказывает Ломоносов в начале своей „Грамматики“, в наставлении первом, „О человеческом слове вообще“. „По благороднейшем даровании, пишет он, которым человек протчих животных превосходит, то есть правителе наших действий, разуме, первейшее есть слово, данное ему для сообщения с другими своих мыслей. Польза его столь велика, кольдалече ныне простираются произшедшия от него в обществе человеческого знания, которые весьма бы тесно ограничены были, есть ли бы каждой человек воображенный себе способом чувств понятия только в собственном своем уме содержал сокровенныя. Когда к сооружению какой-либо махины приготовленныя части лежат особливо, и ни которая определенного себе действия другой взаимно не сообщает: тогда все бытие их тщетно и бесполезно. Подобным образом, если бы каждой член человеческого рода не мог изъяснить своих понятий другому; то бы не токмо лишены мы были сего согласнаго общих дел течения, которое соединением разных мыслей управляется, но едва бы не хуже ли были мы диких зверей, разсыпанных по лесам и по пустыням“ (Российская грамматика, § 1). Существенным является здесь то, что выражаемые в словах понятия источником своим имеют ощущения, получаемые человеком из внешнего мира, из действительности. Прежние исследователи, например, редактор дореволюционного собрания сочинений Ломоносова акад. Сухомлинов, стремились во что бы то ни стало подыскать Ломоносовским высказываниям, и, в частности, данному, источник в зарубежной литературе. Так, Сухомлинов считал, что данное положение восходит к Локку. Но самое беглое сравнение положений Ломоносова и Локка показывает, насколько самостоятелен был наш первый ученый мыслитель. Здесь же Ломоносов отчетливо указывает на то, что без языка невозможен был бы никакой прогресс, никакое развитие в человеческом обществе, и подчеркивает именно общественное значение языка.

Много и других интересных и далеко опережающих его время положений, соображений и замечаний по по-

воду языка, его развития, взаимоотношений различных языков находим мы в сочинениях Ломоносова, как опубликованных при жизни его, так и долгое время спустя после его смерти остававшихся в рукописях. Но основной лингвистической заслугой его является создание им первой полной русской грамматики, оказавшей огромное влияние на всю последующую русскую грамматическую литературу.

VI

„Российская грамматика“ Ломоносова представляет ценность в двух отношениях. Во-первых, в ней Ломоносов наиболее верно сравнительно с другими писателями-теоретиками языка XVIII в. угадал и вместе с тем привел в стройную систему правил тенденции, существовавшие в развитии нового литературного языка, оформляющегося на живой национальной основе; во-вторых, он понял и вскрыл специфические особенности русского языка, отличающие его от других языков. В этом отличие грамматики Ломоносова от общих философских грамматик, распространенных в XVII—XVIII вв. в западноевропейской литературе, в первую очередь, от грамматики Port-Royal'a. Ошибка многих прежних исследователей состоит в том, что они искали источники грамматики Ломоносова именно в этих философских грамматиках. И можно сказать, что в значительной мере заслуга именно Ломоносова в том, что наша последующая грамматическая литература в изложении и интерпретации фактов русского языка в большей степени опирается на категории, свойственные русскому языку, чем западноевропейские грамматики, которые даже в XIX и XX вв. зачастую описывают грамматический строй западноевропейских языков, опираясь на категории античной грамматики.

Грамматика Ломоносова представляет собой весьма полный свод орфографических правил, орфоэпических норм и изложение морфологического строя русского литературного языка. В меньшей степени затронут синтаксис.

Формулируя орфографические правила русского языка, Ломоносов понимает нецелесообразность фонетического принципа написания, предлагавшегося, как уже было сказано выше, Тредиаковским. Орфография должна служить

к объединению, а не к разъединению всех говорящих по-русски. Так, принимая аканье как норму литературного произношения, он возражает против написания *a* вместо *o* в безударном положении в соответствии с произношением, замечая при этом: „Но ежели положить, что бы посему выговору всем писать и печатать, то должно большую часть России говорить и читать снова переучить насильно“ (см. § 115). Ломоносовым формулированы были следующие общие принципы, на которые должно было опираться русское правописание. „В правописании, — пишет он, — наблюдать надлежит: 1) что бы оно служило к удобному чтению каждому знающему Российской грамоте. 2) Что бы не отходило далече от главных Российских диалектов, которые суть три: Московской, Северной, Украинской. 3) Что бы не удалялось много от чистого выговору. 4) Чтобы не закрывались совсем следы произвождения и сложения речений“ (см. § 112).

Ломоносов понял также и значение морфологического принципа, который и в настоящее время является ведущим в нашей орфографии. На этот принцип указывает последнее из приведенных выше четырех положений.

Ломоносов, как уже было сказано, первый четко разграничил русский и церковнославянский язык и, положив в основу предлагаемых им норм нормы живого русского языка, понимал вместе с тем значение церковнославянского языка. В своем сочинении „О пользе книг церковных в российском языке“ он формулировал в общем виде свою знаменитую теорию „трех стилей“ и определил границы употребления разных стилей в различных литературных жанрах.

Это сочинение вышло несколько позднее грамматики, в 1758 г., в качестве предисловия к первой книге собрания сочинений Ломоносова, выпущенного Московским университетом (помечена указанная книга 1757 г., но фактически вышла в свет в 1758 г.). Поводом для написания этого предисловия послужил, по-видимому, конфликт, возникший перед этим между правящими кругами русского духовенства и Ломоносовым вследствие опубликования последним различных сочинений, направленных как против духовенства, так и против некоторых положений, принятых учением церкви. Указанное предисловие было написано, вероятно, по настоянию Шувалова и имело целью

способствовать более благосклонному отношению со стороны духовных властей как к выходящим сочинениям Ломоносова, так и к детищу Ломоносова, только что открытому перед тем Московскому университету, выпустившему эти сочинения. Однако предисловие это свидетельствует о том, что Ломоносов нисколько не отступил от своих антиклерикальных позиций: он признает в нем лишь пользу церковных книг, писанных по-церковнославянски, для развития нашего литературного языка, но ничего не говорит о содержании этих книг¹⁹. Разграничение стилей было основано Ломоносовым на различии в использовании живых русских и церковнославянских элементов. Теория „трех штилей“ носила для своего времени прогрессивный характер, поскольку основу образовывал живой русский язык, а излишне устарелые и малопонятные церковнославянские слова исключались даже из высокого „штиля“.

В указанном сочинении Ломоносов говорит о разграничении стилей лишь в лексическом отношении. Но, как видно из „Грамматики“, различие стилей распространялось и на фонетику и на грамматический строй. В отношении фонетики см., например, замечания о произношении под ударением *e* как *o* лишь „в просторечии“ (см. § 97). Ср. также заключительное замечание к главе второй („О произношении букв Российских“): „Сие произношение больше употребительно в обыкновенных разговорах; а в чтении книг и в предложении речей изустных к выговору букв склоняется“ (см. § 104). В отношении морфологии см., например, рассуждение об употреблении окончания *-у* в род. п. ед. ч. у некоторых существительных, которые „тем больше оное принимают, чем далее от Славенского отходят; а Славенския в разговорах мало употребляемая, лутче удерживают *a*“ (см. § 172). Ср. также дальше: „Сие различие древности слов и важности знаменуемых вещей, весьма чувствительно, и показывает себя нередко в одном имени“ (см. § 173). И дальше приводятся примеры употребления этих двух параллельных окончаний в зависимости от структуры соответствующего существительного и сочетания, в которое оно вступает (ср., например, „ангельскаго *гласа*“, но „птичья *голосу*“). Подобное же замечание делает Ломоно-

¹⁹ См. М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. VII. М.—Л., 1952, стр. 893—894 (примечания редакторов).

сов и по поводу разграничения в употреблении окончаний *-ѣ* и *-у* в предложном падеже (в местном значении): „Как и во многих других случаях, так и здесь наблюдать надлежит, что в штиле высоком, где Российской язык к славенскому клонится, окончание *ѣ* преимуществует... но те же слова в простом слоге, или в обыкновенных разговорах, больше в предложном *у* любят...“ (см. § 190). Так, он разграничивает: „въ потѣ лица трудъ совершать“, но „въ поту домой прибѣжать“.

Рассматривая причастия настоящего времени, Ломоносов обращает внимание на их церковнославянский характер и считает возможным образование их лишь от русских глаголов, совпадающих по своей структуре и значению с церковнославянскими: „При сем примечать надлежит, — пишет он, — что сии причастия только от тех Российских глаголов произведены быть могут, которые от Славенских как в произношении, так и в знаменовании никакой разности не имеют. Употребляются только в письме; а в простых разговорах должно их изображать чрез возносительныя местоимения, *которой, которая, которое*. Вовсе не надлежит производить причастий от тех глаголов, которые нечто подлое значат, и только в простых разговорах употребительны, ибо причастия имеют в себе некоторую высокость, и для того очень пристойно их употреблять в высоком роде стихов“ (см. § 343). Ср. также рассуждение о деепричастиях на *-ючи*, явно русских по структуре, которые, по Ломоносову, можно образовывать лишь от таких глаголов, которые не происходят от славянских: „При сем примечать надлежит, что деепричастия на *ючи* пристойнее у точных Российских глаголов, нежели у тех, которые от Славенских происходят; и напротив того деепричастия на *я* употребительнее у Славенских нежели у Российских“ (см. § 356).

Характерным при этом для Ломоносова является то, что церковнославянский язык рассматривается им как особый источник пополнения нашего литературного языка, как особый язык, существующий наряду с русским языком и параллельно с ним. В этом отразились в известной мере отношения, характерные для предшествующей эпохи — для XVII в., когда у нас параллельно (хотя и в известном взаимодействии) развивались две формы литературного языка — церковнокнижная в своей основе и бо-

лее близкая к живому языку, представленная в первую очередь памятниками делового письма.

Впоследствии, к концу XVIII в., а особенно в первые десятилетия XIX в. отношения изменились, и определенная часть элементов, идущих от церковнославянского языка, органически влилась в наш литературный язык, церковнославянский же язык в целом перестал играть роль особого источника, существующего в качестве самостоятельного языка наряду с русским литературным языком.

Ведущим принципом грамматики Ломоносова является ориентация на живой русский язык. Вместе с тем, при изложении фактов этого языка, он, как уже было сказано, не следует готовым схемам, а стремится вскрыть специфику звукового и грамматического строя живого языка своего времени.

В языкознании долгое время строго не разграничивали буквы и звуки. В грамматике Ломоносова довольно отчетливо выступает мысль о различии звуков и букв, о различии произношения и начертания, фиксирующего это произношение. На стремление к разграничению того и другого указывают уже определения начальных параграфов главы 2-й („Наставления первого“): „О выговоре и неразделимых частях человеческого слова“. „Неразделимой частью“, по Ломоносову, „называется та, в которой неразделимое по чувствам время ни напряжением, ниже повышением ничего отменного произвести невозможно“ (Соч., т. VII, стр. 398). Этой неразделимой частью, как видим, Ломоносов называет то, что мы теперь называем звуком речи. Представления о неоднородности звука на протяжении его произношения в целом Ломоносов не мог иметь, хотя в отдельных случаях он, как увидим, и приближался к этому представлению. Далее он пишет: „Таковые неразделимые части слова изображаются по их разности различными начертаниями, которые называются по-нашему *буквы*. Различность их происходит от разности органов, от разного их положения и движения“ (там же). Как видим, Ломоносов лишь *изображение* этого однородного звучания (а не самую эту неразделимую часть) называет *буквой*. Отчетливое представление о различии буквы и звука как изображаемого и произносимого ярко выступает в грамматике Ломоносова и в ряде других мест.

В качестве примера можно указать на § 102, где идет

речь о различном произношении одной и той же буквы *г* в зависимости от фонетического положения, морфологических форм и нахождения ее в отдельных словах. Ломоносов указывает четыре способа („образа“) ее произнесения: 1) как *h* „у иностранных“ (т. е. у иностранцев), т. е., вероятно, как *γ* фрикативное, — такое произношение наблюдается в словах, идущих из старославянского языка; Ломоносов называет при этом и те слова и формы, которые сохраняли такое произношение еще по предреволюционным нормам русского литературного языка (косвенные падежи и производные от слова *бог*, *господь* и производные от него, *благо* и производные от него), добавляя, впрочем, к ним и другие славянизмы, в которых у нас уже давно принято было произносить *г* взрывное, например, *глас* и производные от него; 2) как *к* — в конце „речений“ (т. е. слов); как видим, Ломоносов отмечает позиционное оглушение этого звонкого согласного на конце слова, причем оглушение во взрывный согласный, а не в фрикативный, по нормам северновеликорусских и переходных говоров, принятым и нашим литературным языком; 3) как *х* на конце слова в слове *бог* и в словах иностранного происхождения, оканчивающихся на *-ург* (речь идет специально о собственных именах, собственно географических названиях, типа Санктпетербург, Марбург), в середине „речений“ (т. е. слов) перед „твердыми“ согласными — „твердыми“ Ломоносов вообще называет „глухие“, следуя в данном случае немецкой терминологии, в которой термин *harte* („твердые“) применяется к глухим согласным, поскольку глухие и звонкие согласные различаются в немецком языке в большей степени напряженностью и ненапряженностью, чем собственно глухостью и звонкостью; в данном случае речь идет специально о положении перед глухими взрывными согласными, типа *легкой*, *мягкой*, где и в современном языке выдерживается произношение *х*; 4) как *в* в окончании прилагательных на *ого*, что также вполне соответствует современным литературным нормам. В качестве пятого способа Ломоносов отмечает колеблющееся между *g* и *h* произношение в заимствованных словах, в котором, однако, не видит нужды. В эти пять способов не включается произношение *г* в его основном виде, т. е. как звонкого взрывного согласного.

В параграфе, непосредственно предшествующем только что рассмотренному, Ломоносов делает вполне правильные замечания относительно норм позиционного оглушения звонких согласных и озвончения глухих (эти нормы характерны и для современного русского языка). Но и здесь он пользуется терминами *твердый* в значении „глухой“, *мягкий* в значении „звонкий“ (также и термин *умячаются* он употребляет в смысле „озвончаются“).

Правда, разграничение между звуками и буквами проведено не всегда последовательно (ср., например, § 30, где говорится, что *склады*, т. е. „слоги“, состояются из *букв*), но вправе ли мы требовать от ученого XVIII в., чтобы он до конца понимал различия между буквами и звуками, как мы их понимаем теперь?

Для суждения о том, насколько Ломоносов хорошо понимал и фонетическую сторону нашего языка, существенное значение имеет немецкий перевод „Российской грамматики“, вышедший в Петербурге в 1764 г. В нем имеются отклонения от русского текста (они опубликованы в новом академическом издании сочинений Ломоносова, в разделе примечаний к грамматике). Перевод осуществлен, как явствует из титульного листа, Иоганном Лоренцом Штафенхагеном, но Ломоносов по-видимому принимал участие в редактировании немецкого текста, в который и были включены некоторые дополнения, важные для немецкого читателя. Так, в § 87 русского текста просто перечисляются буквы русской азбуки (кроме немногих, требующих особых замечаний, которые и сделаны в следующем § 88), в немецком же тексте дается ряд дополнительных замечаний, имеющих целью облегчить изучение русского произношения немцем. Так, относительно ж сообщается, что оно произносится гораздо мягче („viel weicher“), чем немецкое *sch*, подобно французскому *g* в словах *général* и *George*, относительно же *ш*, — что оно, напротив, равнозначно немецкому *sch* и гораздо тверже („viel härter“), чем *ж* (термины „твердый“ и „мягкий“ и здесь употребляются в вышеуказанном смысле). Здесь же обращено внимание и на отличие в произношении русского *ы* от *и*, причем сделана попытка артикуляционно определить это отличие. Вместе с тем делается попытка показать очень важное для русского языка отличие мягких согласных (уже в нашем смысле) от твер-

дых. Для обозначения мягкого в этом смысле согласного употреблен термин не „weiche“, а „gelinde“ (к сожалению, редакторы академического издания передали оба термина по-русски одинаково „мягкий“). Интересно, что для обозначения мягкости введен принятый у нас в транскрипции и теперь знак [’], заимствованный из польского и чешского письма (так, например, *сельди* пишется *sel'dy*).

Особенно же много ценного и нового дал Ломоносов в области описания морфологического строя русского языка. При этом он не следует готовым, заранее заданным схемам, а всюду стремится вскрыть специфические особенности системы живого языка.

Так, например, рассматривая падежную систему русского языка, он устанавливает именно те падежи, которые ему свойственны, показывая вместе с тем, чем отличается от русского падежная система некоторых других языков, и упрекая авторов немецких, французских, итальянских и других западноевропейских грамматик за то, что они не следуют нормам своего языка, а пользуются схемами, унаследованными от латинских грамматик: „... хотя шестой падеж (ablativus) в грамматических примерах и поставляют, однако от родительного первых, или дательного других ни чем он не разнится. Предлоги *de*, *da*, *von* и прочие не дают им силы Творительного Латинского, равно как предлоги *avec*, *mit*, *in* и прочие. Ибо шестой падеж введен к ним с примеру Латинского, в чем им Греческому языку было должно последовать“ (см. § 57). Следует, впрочем, заметить, что это рассуждение, с нашей точки зрения верное в отношении немецкого языка, вряд ли является верным в отношении французского и итальянского.

Ломоносов же, рассматривая падежную систему русского языка, ввел название *предложного* падежа, обратив внимание на употребление этого падежа исключительно с предлогами (см. § 58). Впрочем, самый этот падеж, только под другим названием, был выделен еще Смотрицким (см. выше).

Рассматривая количество спряжений в русском языке, Ломоносов устанавливает два спряжения, указывая при этом на возможное различие в количестве их по языкам: „... оная разницы не во всяком языке равно чувствительны. Откуда происходит, что разные языки раз-

ное число Спряжений имеют. Греческой, Латинской и Французской четыре, Российской два, Еврейской и Немецкой одно. . .“ (см. § 74). Какая разница по сравнению с нашими старинными грамматиками, которые, при весьма тонком понимании фактов родного языка, располагали славянские глаголы по четырем латинским спряжениям!

Некоторые лингвисты считают, что слабым местом в грамматике Ломоносова является изложение им системы глагольных времен, поскольку он не дошел даже до того понимания категории вида в славянском глаголе, какое было свойственно еще Смотрицкому, но стремился объединить и временные и видовые категории русского глагола в схеме установленных им десяти времен. Эти десять времен следующие: 1) настоящее; 2) прошедшее неопределенное (например, *тряс*); 3) прошедшее однократное (например, *тряхнул*); 4) давно прошедшее первое (например, *тряхивал*); 5) давно прошедшее второе (например, *бывало тряс*); 6) давно прошедшее третье (например, *бывало трясывал*); 7) будущее неопределенное (например, *буду трясти*); 8) будущее однократное (например, *тряхну*); 9) прошедшее совершенное (например, *написал*); 10) будущее совершенное (например, *напишу*). Действительно, здесь в одном временном плане рассматриваются и различные времена, и различные видовые образования, и даже некоторые описательные (перифразические) выражения. Но в то же время здесь обнаруживается весьма тонкое понимание фактов живого русского языка. Формы типа *тряхивал*, отнесенные Ломоносовым к давнопрошедшему первому времени, позднейшие грамматисты относили к особому многократному виду. Но ведь эти формы действительно связаны специально с прошедшим временем и действительно передают нечто давно бывшее (в современном литературном языке их употребление чрезвычайно ограничено, но в некоторых говорах они широко распространены). Уловил он и различия в значении, существующие между глаголами совершенного вида с суффиксом *-ну-* и приставочными глаголами совершенного вида. А ведь и у Смотрицкого понимание вида выступает еще в самой зачаточной форме (см. выше).

В грамматике Ломоносова мы находим и некоторые факты, уже архаичные и для языка того времени. Ср.,

например, такое склонение, как *жеребя*, *жеребяти* и т. д. (см. § 159). Но такие случаи единичны. В целом же грамматика его дает систему живого современного ему языка.

Не все из того, что сделал Ломоносов даже в области изучения грамматического строя русского языка, вошло в печатный текст его грамматики. Многие остались в черновых набросках (они опубликованы в примечаниях к тому, содержащему его филологические работы). Мы находим здесь, с одной стороны, теоретические обобщения, порой еще не доведенные до конца, с другой же стороны — конкретные примеры из области русской грамматики и их разбор.

Так, говоря о различных падежах русского языка и их значениях, Ломоносов не дает общего определения грамматической категории падежа, но мысль дать это определение у него, по-видимому, была. В одной из черновых заметок он пишет: „Падежемъ называется перемѣна окончанія именъ, по разнымъ дѣйствіямъ или страданіямъ сочиненныхъ съ ними глаголовъ“ (Соч., т. VII, стр. 634). Существенно обратить внимание на сформулированное здесь строгое определение падежа по его форме, точнее, по окончаниям, характеризующим имена и выражающим соответствующие значения. Недостатком определения является то, что оно имеет ввиду лишь приглагольные, но не приименные падежи.

Из конкретных наблюдений над употреблением грамматических форм интересны, например, замечания относительно употребления кратких и полных прилагательных и совершенного и несовершенного вида предикативных страдательных причастий прошедшего времени. Ср.: „Въ геометріи должно сказать: этотъ уголь прямой, а не прямъ“ (Соч., т. VII, стр. 609); „Они еще ненаписаны. *Supponitur jam actio* [Подразумевается уже совершающееся действие]. Они еще не писаны. *Nulla actio Supponitur* [Никакого действия не подразумевается]“ (там же, стр. 627).

Помимо грамматики, лингвистические воззрения Ломоносова находят себе выражение и в других его сочинениях.

Так, в „Кратком руководстве к риторике в пользу любителей красноречия“, подготовленном раньше грамматики, но отвергнутом конференцией Академии в 1744 г.

и при жизни Ломоносова не напечатанном, имеются интересные соображения и лингвистического характера. Под риторикой в его время понимали как ораторское искусство, так и поэтику. Указанное руководство должно было служить пособием как для составления устных речей, так и для создания письменных произведений различного рода. В частности, интересны наблюдения над фразовой интонацией, изложенные в части четвертой, содержащей некоторые указания произносящему устную речь („О произношении“). В печатном варианте риторики („Краткое руководство к красноречию“), вышедшем из печати после переработки в 1748 г. и затем неоднократно переиздававшимся, эта тема вообще не была затронута.

На характере русского ударения Ломоносов останавливается в „Письме о правилах российского стихотворства“, написанном в самом начале его научной деятельности, еще во время пребывания в Германии. Здесь же он подвергает критике просодию Смотрицкого, перенесшего на славянскую почву учение античных (и именно греческих) грамматиков о количественных (долготных) отношениях греческого языка.

Но основным лингвистическим трудом Ломоносова бесспорно является его грамматика. Она оказала огромное влияние не только на последующее развитие русской грамматической литературы, но и на нормы литературного употребления форм русского языка.

VII

В 1769 г. вышла „Грамматика российская универсальная с семью присовокуплениями“ проф. Н. Курганова, впоследствии неоднократно переиздававшаяся под заглавием „Письмовник, содержащий в себе науку Российскаго языка со многими присовокуплениями разнаго учебного и полезно-забавнаго вещёсловия“. „Письмовник“ представлял собой, по выражению акад. В. В. Виноградова, „своеобразную энциклопедию для мещанства и полуинтеллигенции XVIII века“²⁰; он выдержал много изданий (часть из изданий „Письмовника“ относится уже к XIX в.,

²⁰ См. „Ученые записки Моск. гос. ун-та“, вып. 106, т. III, кн. 1, стр. 32.

ср. 9 изд. 1818 г.) и пользовался, по свидетельству Пушкина в предисловии к „Истории села Горюхина“, большой популярностью среди провинциальных помещиков еще в первой половине XIX в. Этот „Письмовник“ содержит и хрестоматию для занимательного чтения, извлеченную преимущественно из различных западноевропейских источников, и словарь иноязычных и непонятных слов с толкованиями, и, наконец, грамматику, которой собственно и открывается это издание. Следует заметить, что название *письмовник* употреблено здесь не в позднейшем значении его, в каком оно вошло и в современный язык, а как опыт русского перевода термина *γραμματική* (*τέχνη*). Ведь этот термин на греческой почве являлся производным от *γράμμα* „буква“ (ст.-слав. *письма*). Впрочем, введенный Кургановым термин в дальнейшем в русском языке в данном значении не удержался. Да и сам он, по-видимому, употреблял этот термин в более широком значении, имея ввиду вообще искусство писать, поскольку первый раздел, содержащий собственно грамматику, так и называется „Грамматика“. Курганова отличает от Ломоносова несколько иной порядок изложения. Первая часть грамматики — „О произведении слов“ содержит морфологию, вторая часть — „О сочинении слов и речений“ — синтаксис, третья — „О произношении и правописании Российском“ — фонетику и орфографию.

Но в целом грамматика Курганова очень близка к грамматике Ломоносова. Ср., например, рассуждение об употреблении форм на *-а* и на *-у* в род. пад. ед. ч. существительных мужского рода, разграничивающее эти формы совершенно так же, как Ломоносов, даже с теми же примерами, но в меньшем количестве и без теоретического обоснования: „Напослѣдокъ вмѣсто розоваго духу, птичьа голосу и пр. приличнѣе говорить Святаго Духа, Ангельскаго гласа или голоса“. Ср. также рассуждение о временах глагола, где устанавливаются для русского языка те же десять времен, какие были установлены Ломоносовым: 1) настоящее (*скачу*); 2) прошедшее несовершенное (*скакал*); 3) прошедшее однократное (*скакнул*); 4) давнопрошедшее первое (*скакивал*); 5) давнопрошедшее второе (*бывало скакал*); 6) давнопрошедшее третье (*бывало скакивал*); 7) будущее неопределенное (*буду* или *стану скакать*); 8) прошедшее совершенное

(*поскакал*; здесь же, очевидно, по ошибке стоит: *отскачу*); 10) будущее совершенное (*поскачу*). Дальнейшие рассуждения по поводу времен частью буквально повторяют Ломоносова, — ср. например, то, что говорится о давнопрошедших временах у Ломоносова: „... давно прошедшие времена заключают в себе учащение или продолжение, как прошедшие неопределенные, имеют знаменования одно старее другаго...“ (Российская грамматика, § 269); у Курганова: „Давнопрошедшие времена заключают в себе продолжение или учащение и имеют знаменование одно старее другаго, как писываль, бывало писалъ, бывало писываль“ (Письмовник, стр. 28).

Заключительное замечание Курганова после изложения правил произношения также почти буквально воспроизводит ломоносовское, имея в виду орфоэпическое разграничение высокого и низкого „штилей“: „Сие произношение больше употребительно в обыкновенных разговорах; в чтении книг и в предложении речей изустных к точному выговору букв склонять должно“. Далее, так же, как у Ломоносова, говорится о необходимости разграничивать и в произношении, а не только в письме, *е* и *ѣ*.

VIII

Особое значение имеет „Российская грамматика“ проф. Московского университета А. А. Барсова.

Ученик Ломоносова, А. А. Барсов (1730—1791) много сделал для продолжения и развития в грамматической области идей своего учителя. Сын справщика Синодальной типографии в Москве, он учился сначала в Московской Славяно-греко-латинской академии, а затем, с 1748 г., в Петербурге, в Академии наук. Впоследствии преподавал математику в академической гимназии, с открытием Московского университета в 1755 г. занял в нем кафедру математики, а с 1761 г. назначен там же профессором красноречия. Работу в университете он продолжал до самой смерти. В течение долгого времени Барсов был инспектором обеих университетских гимназий, имевших целью подготовку слушателей университета. Основным трудом его является „Российская грамматика“, написанная в последней четверти XVIII в. Грамматика эта в полном виде до сих пор еще не опубликована и даже, возможно,

полностью до нас не дошла. Извлечения из нее были опубликованы Ф. И. Буслаевым в сборнике „В воспоминание 12 января 1855 г., Учено-литературные статьи профессоров и преподавателей Имп. Московского университета, изданные по случаю его столетнего юбилея“ (М., 1855, № 8, стр. 3—16). В библиотеке Московского университета хранятся два списка „Российской грамматики“, один XVIII в., с собственноручными дополнениями самого Барсова на полях, неполный (нехватает, в частности, раздела, посвященного глаголу), другой позднейший, 1830 г., более полный. Третий список хранится в Ленинградской публичной библиотеке им. Салтыкова-Щедрина. При жизни Барсова выпущено было в свет лишь составленное им краткое руководство по грамматике, предназначенное для университетских гимназий — „Краткия правила Российской Грамматики, собранныя изъ разныхъ Российскихъ Грамматикъ въ пользу Обучающагося Юношества въ гимназияхъ“, (М., 1771 г., без имени автора), впоследствии оно выдержало десять изданий.

В 1768 г. А. А. Барсовым была предложена реформа русской орфографии, состоявшая, в частности, в том, что вместо двух букв, фонетически не различавшихся — *и* и *і*, — сохранялась лишь одна, именно *і*, упразднялся *ѣ* на конце слова, внутри же слова заменялся апострофом. Вследствие радикальности, проект Барсова принят не был. Некоторые же из его пожеланий были проведены в жизнь лишь реформой орфографии 1917 г.

Грамматика Барсова, как с точки зрения расположения материала, так и с точки зрения освещения его, в основном примыкает к грамматике Ломоносова, во многом в то же время дополняя и развивая положения, содержащиеся у Ломоносова.

В начале „Грамматики“ содержится весьма обширный раздел, посвященный системе письма, произношению и орфографии, причем данные о письме сопровождаются и некоторыми историческими справками. Ср., например, то, что говорится по поводу первоначального различия в произношении букв *и* и *і*, заимствованных славянским письмом, как совершенно правильно указывает Барсов, из греческого письма (различие устанавливается на основании анализа произношения греческих заимствований в латинском языке): „Въ греческомъ языкѣ, изъ кото-

раго безъ сомнѣнія в латенскія буквы по наибольшей части заимствованы, произношеніе *и* отъ *i* въ древнія времена разнствовало, что показываетъ перемѣна греческой *ι*ты въ латинскомъ на *e*, а не на *i*, на пр. греческія слова *Ιησους*, *Μητροπολίτης*, *Δημοσθένης* по латинѣ пишутся *Jesus*, *Metropolitēs*, *Demosthenēs*“ (список XVIII в., стр. 23—24). Подробно рассматриваются в этом разделе случаи отступления написанія от произношенія, причем Барсов следует формулированному Ломоносовым и господствующему до настоящаго времени в нашей орфографіи морфологическому принципу. Ср., обширные списки примеров на употребленіе согласных по глухости и звонкости при сохраненіи единообразнаго написанія соответствующих согласных независимо от их фонетическаго соедства, например:

„пишется выговаривается
въ *фа́брику* *фѣ фабрику*
съ *болѣзнію* *зѣ болѣзнію*“ (там же, стр. 93).

Подобно Ломоносову, как в изложеніи орфоэпических норм, так и в отношеніи грамматических правил, Барсов ориентируется на разграниченіе норм высокаго и низкаго „штиля“, живое для русскаго литературнаго языка той эпохи, когда писалась грамматика Ломоносова, но к концу XVIII в. уже нарушавшееся и изживавшееся. Так, изложив правила произношенія, характерные для разговорной речи, следуя в основном Ломоносову, но с привлеченіем болѣе обширнаго матеріала (ср., например, то, что говорится о произношеніи *о* после мягких согласных), он в заключеніе делает замечаніе, весьма напоминающее Ломоносова (ср. выше): „Въ чтеніи книгъ, особливо церковныхъ, и въ предложеніи рѣчей изустныхъ, особливо духовныхъ поученій и проповѣдей, каждая буква произносится такъ, какъ то выше сего показано въ сей самой таблицѣ о познаніи буквъ“ (там же, стр. 41). Весьма напоминает Ломоносова и то, что говорит Барсов об употребленіи род. п. ед. ч. на *-у* у существительных мужскаго рода. Он также разграничивает формы на *-а* и формы на *-у* в зависимости от принадлежности соответствующаго слова к словам высокаго или низкаго „штиля“. Окончаніе *-у* принимают, по Барсову, „особливо такія которыя болѣе къ нынѣшнему Россійскому

или простонародному употребленію принадлежатъ как напр. . . .“ (следуютъ примеры). „Напротивъ чего слова общія славенскому и Россійскому языкамъ принимаютъ *а* и *у*, или *я* и *ю*, смотря потому, какъ содержаніе Рѣчи важно, и слогъ къ [слогу]²¹ требуется высокій, или посредственный и низкій въ слѣдствіе сего мы говоримъ съ одной стороны: *святѣго дѹха, ангельскаго гласа, человѣческаго долга, небѣснаго огня*, а съ другой: *рѳзоваго дѹху, птѣчьѣ гѳлосу, прошлогѳдняго дѳлгу, подай огню* и (*огѣ* [sic!])“ (тамъ же, ч. II, стр. 69—70). Даже примеры здесь частью те же, что у Ломоносова. Впрочем, примеровъ приведено больше и разобраны они подробнее.

Хотя Барсовъ имеетъ въ виду въ первую очередь систему литературнаго языка, въ грамматикѣ его рассеяны и любопытныя замечанія историческаго и диалектологическаго характера. Подобныя замечанія мы находимъ, впрочемъ, и въ грамматикѣ Ломоносова.

Но въ некоторыхъ отношеніяхъ Барсовъ идетъ дальше Ломоносова, освѣщая области, мало затронутыя послѣднимъ, отдѣльнымъ же фактамъ давая иную трактовку, чемъ въ Ломоносовской грамматикѣ.

Такъ, Ломоносовъ фактически разграничивалъ существительныя, выражающія одушевленные и неодушевленные предметы. Это видно по приводимымъ имъ примерамъ. Но теоретическаго рассужденія по поводу этого разграниченія у него нѣтъ. У Барсова же это разграниченіе формулировано теоретически и иллюстрировано примерами, притомъ не только въ полной грамматикѣ, но и въ „Краткихъ правилахъ“. Ср.: „Въ именахъ одушевленныхъ вещей мужскаго и женскаго рода во множественномъ числѣ Винительный падежъ подобенъ Родительному. Напр. Я пришлю къ тебѣ всехъ моихъ *слугъ* и *служанокъ*. А имена мужскаго рода втораго склоненія помянутыя падежи имеютъ сходныя и въ единственномъ числѣ. Напр. Позови ко мнѣ *Андрея*. Виделъ ли ты моего *Петра*? Я пришлю къ тебѣ своего *повара*“ (Краткіе правила Россійской грамматики, изд. 8, М., 1802, стр. 21).

Хотя и въ зачаточной формѣ, мы находимъ у Барсова ученіе о видахъ, какъ о формахъ различныхъ глаголовъ (у Ломоносова, какъ мы видели, при всемъ его очень тонкомъ

²¹ Зачеркнуто.

ощущении соответствующих особенностей русского глагола, виды и времена объединены в единую временную систему). Термин *вид* Барсов употребляет не в нашем современном смысле, а в том же значении, в каком его, вслед за греческой грамматикой, употребляли наши старинные грамматисты (ср. то, что сказано было выше о Зизании и Смотрицком). Так, он разграничивает по виду глаголы первообразные и производные — производными он называет такие глаголы, „которые чрезъ приложениe на концѣ и въ началѣ разныхъ слоговъ происходятъ“ (см. список 1830 г., стр. 208). Но дальнейшее подразделение производных глаголов опирается на некоторые различия действительно видового характера. Так, он подразделяет их на *начинательные* — *теплѣю, бѣлѣю* и т. д. и *учащательные* — *бѣгаю, валяю, алкаю, прощаю* (там же, стр. 209). Впрочем, здесь, как мы видим, объединены структурно подобные, но по значению несколько различающиеся глаголы, не все они действительно имеют итеративное значение, каковое имел в виду автор. При этом весьма интересно и заслуживает большого внимания то, что говорит Барсов об отношении этих учащательных глаголов к приставочному образованию: „Каждый глаголъ первообразный имѣетъ свой учащательный; но не каждый учащательный самъ собою употребителенъ — и только употребляется въ состояніи сложныхъ: тваряю [sic!], храняю, чесываю, взатворяю [sic!], сохраняю, пречесываю [sic!]“ (там же). Здесь идет речь о производных приставочных глаголах несовершенного вида, в основе которых лежат такие глаголы, которые без приставки являются (по крайней мере, некоторые) глаголами многократными (особенно ясно это из приводимых здесь примеров для *чесываю*). Такое средство образования глаголов несовершенного вида от глаголов совершенного вида с тем же лексическим значением для современного русского языка является наиболее продуктивным. Таким оно, вероятно, было и на грани XVIII и XIX вв. Впрочем, до понимания противопоставления совершенного и несовершенного вида как основного в нашей видовой системе Барсов еще не доходит.

В отличие от Ломоносова Барсов детально разработал раздел „О словосочинении“, т. е. синтаксис. Соот-

ветствующий раздел имеется и в грамматике Ломоносова, но крайне сжатый. В этом разделе Барсов рассматривает как простое, так и сложное предложение, уделяя внимание при этом как основным средствам выражения зависимости одних слов от других в предложении, так и порядку слов.

Исследуя способы сочетания слов в предложении, он исходит из основных морфологических категорий — из частей речи и их форм. Рассматривая различные виды связи, он разграничивает в качестве основных способов *согласование* (он также употребляет термин *согласие*) и *управление*. „Согласование, — по определению Барсова, — состоит в том, когда речение, зависящее от другого точно для него полагается в равном с ним изменении, а именно: в едином роде, числе, падеже, лице... Управление же состоит в том, когда речение зависящее от другого точно для него полагается в некотором известном и с ним несходственном изменении“. Впрочем, приводимые примеры лишь частью соответствуют приведенным определениям: так, к примерам на согласование отнесены не только такие случаи, как *был случай* и *мысли смущались*, но и такие, как *знай себя*.

Стоя на точке зрения выражения грамматическими средствами логических категорий, которую разделяли виднейшие грамматисты как русские, так и зарубежные, вплоть до второй половины XIX в., Барсов предпосылает собственно синтаксическому материалу „Сведения, заимствованные из логики“. Впрочем, как в этом вводном разделе, так и в дальнейшем изложении видно, что он понимает возможность различными средствами выразить в языке одни и те же логические категории. Ср., например, то, что он говорит о порядке слов в § 4: „И хоть как по логическому расположению мыслей, подлежащее сказуемому так по общему словосочинения порядку, именительный падеж предшествует глаголу, однако же по употреблению в Российском языке, столько же часто первое место дается глаголу, как и именительному падежу. Например, „Богъ есть, и есть Богъ“.

От логики идет и введение, помимо подлежащего и сказуемого, члена, соединяющего их, называемого *связью*, или *связкой*, которая, впрочем, судя по тому, что говорит Барсов, включается все же в сказуемое, хотя и

отличается от самого сказуемого: „Во всяком сказуемом, — говорит он, — по раздроблению понятий в точность различаются две части, а именно: *самое сказуемое* собственно так называемое и его с подлежащим *связание*, которое обыкновенно называется *связью* или *связкою* сказуемого с подлежащим“. Этой связкой является, по Барсову, „глагол существительный“ (т. е. глагол существования), *есмы*, а также другой, „существительный же“ глагол *бываю*.

Исходя из логической же точки зрения, он и глаголы в изъявительном и повелительном наклонении рассматривает как содержащее в себе связку: „Прочие же глаголы (т. е. кроме „глаголов существительных“) изъяв. и повел. наклонения, все содержат уже сами в себе связь предложения и сказуемое целое или главное и начальное“. Но интересно, что, рассматривая употребление связки, он обращает внимание на то обстоятельство, что такие формы ее, как *еси*, *есмы*, *есте*, „принадлежат единственно к славянскому языку, а в русском совсем не употребительны, и в связании подлежащего с сказуемым не выражаются, напр. Ты щастлив, мы благодарны, ты благополучен“. Для русского языка, по мнению Барсова, употребительной в единственном числе является лишь форма *есть*, а кроме того возможна и форма множественного *суть*, „и то разве в ученом содержании или в высоком стиле“. Как видим, логический подход к фактам синтаксиса не заслонил от него особенностей, характеризующих живой конкретный язык.

О тонком понимании Барсовым различных возможностей языкового выражения одного и того же с логической точки зрения содержания свидетельствует и раздел, названный „О Выражении грамматическом“. Здесь же мы находим весьма любопытные соображения относительно связи порядка слов и интонации. Интересна параллель, которую проводит Барсов между ударением слова и фразовою интонациею (точнее, тем, что в настоящее время получило название логического или фразового ударения), которую он и называет грамматическим выражением: „Что в речении двусложном, или многосложном сила или ударение, то самое в целом предложении из двух или более слов состоящем есть *выражение грамматическое* (Emphasis Grammatika), т. е.

произнесение одного речения несколько возвышенным голосом перед прочими, в том же предложении находящимися речениями“. С этим произнесением „несколько возвышенным голосом“ связывает Барсов и различный возможный порядок слов в одном и том же русском предложении с одним логическим или общим порядком. В качестве примера он берет предложение „Я говорил тебе“ (таков его логический порядок). Выделяемое слово выносится, по Барсову, в начало предложения. Получаются следующие возможные случаи:

„Я говорил тебе	}	т. е. неинной кто
или		
Я тебе говорил	}	т. е. неинному кому
Тебѣ я говорил		
или		
Тебѣ говорил я	}	т. е. неумолчал“.
Говорил я тебе		
или		
Говорил тебе я		

Останавливается Барсов и на сложном предложении. Интересно, что сложным предложением он считает не только такое, которое состоит „из двух или более связанных между собою предложений разных, т. е. таких, из которых каждое явно имеет свое особое подлежащее и сказуемое“, но и предложения, содержащие несколько подлежащих при одном сказуемом, или несколько сказуемых при одном подлежащем, а также и несколько сказуемых при нескольких подлежащих, т. е. такие, которые старая школьная грамматика называла слитными, например: „Бог есть всемогущ и праведен“; „Не одни невежды, но также и ученые люди часто обманываются, судят не размыслив и неохотно отстают от своих, хоть и дознанных ложными, мнений“.

И в синтаксическом разделе, как и в фонетическом и морфологическом, мы также находим у Барсова много интересных замечаний, касающихся особенностей различных стилей речи, в первую очередь разговорного языка, просторечья. Некоторые замечания, как уже было сказано, относятся даже к диалектологической области. Ср., например, то, что говорится в § 3, посвященном

„Сочинению местоимений“, об употреблении указательного местоимения, играющего роль согласуемой и несогласуемой постпозитивной частицы. Так, изложив, обычное, по-видимому, и для его времени употребление несогласуемой частицы в целях подчеркивания — „Местоимение среднее *то* для точнейшего указания вещи или слова, или для большего подтверждения и уважения мысли своей, представлено быть может после всякой другой части, оставаясь само притом несклоняемым, в каком бы изменении предыдущее слово не было“, — Барсов указывает и на возможные изменения этого „местоимения“ по родам и числам, а затем добавляет, что „по новгородскому наречию в таком случае употребляется и мужское *тотъ* так как *та*, *то* и *тѣ* и притом с склонением по всем падежам в обоих числах...“.

Следует заметить, что *тот* в качестве постпозитивной согласуемой частицы мужского рода и в настоящее время употребляется в олонецких говорах, территория которых в свое время была заселена из Новгородской земли. Из такого *тот* выводит Барсов и квалифицируемое им как „простонародное испорченное окончание *отъ*, а по Московскому выговору *атъ*“. Соответствующая форма частицы, в ед. ч. мужск. р. вообще более обычная, чем указанная выше форма *тот*, является общей для большинства северновеликорусских говоров и широко распространена и в переходных говорах, между прочим и близких к Москве. В эпоху Барсова эта форма, по-видимому, была свойственна и московскому говору. Ср. примеры, приводимые Барсовым: „Отец-отъ, Дом-атъ“.

Здесь же Барсов говорит и об изменении этого *-отъ* в *-этъ* при существительных, оканчивающихся на *ь*, *й* (т. е. на мягкий согласный), приводя такие примеры, как *кремень-этъ*, *халуй-этъ*, *Матвей-этъ*. Такое употребление было, вероятно, свойственно и столичному просторечью XVIII в. — ср. *первоет портной* в устах Простаковой в „Недоросле“ (Вряд ли Фонвизин использовал эту форму специально как диалектную).

* * *

Уже в начале XIX в. именно в 1802 г., после длительной подготовительной работы над ней, вышла первым изданием „Грамматика Академии Российской“ (второе

издание вышло в 1809 г.). По общему плану своему, а также в интерпретации грамматического материала она также примыкает к „Российской грамматике“ Ломоносова. В ней находим мы то же отношение к церковнославянскому языку и к разграничению высокого и низкого „штиля“ и к средствам, оформляющим это разграничение. Но то, что являлось прогрессивным для эпохи Ломоносова, уже не удовлетворяло потребностям нашего развивающегося литературного языка начала XIX в., когда окончательный облик принимал тот грамматический строй, который характерен и для нашего современного языка.

На разборе этой грамматики останавливаться не буду. Дальнейшая же грамматическая литература, — по крайней мере, труды, вышедшие из-под пера наших выдающихся лингвистов, которыми так богат XIX век, начиная с первых десятилетий, — составляет уже новый этап в развитии нашей грамматической мысли.

Кузнецов Петр Саввич

У истоков русской грамматической мысли

*

Утверждено к печати

Отделением литературы и языка Академии наук СССР

●

Технический редактор *Ю. В. Рылина*

РИСО АН СССР № 5-93В. Сдано в набор 16/V 1958 г. Подписано к печати 25/VIII-1958 г. Формат 84 × 108^{1/32}. 2,37. печ. л. (4). уч.-изд. л. 4. Тираж 4000 экз. Т-07482. Изд. № 3068. Тип. зак. № 737.

Цена 2 р. 40 к.

1-я типография Издательства АН СССР

Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12